



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

THE GIFT OF

M. Henri Baulig

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ

L. N. Tolstoy

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ И МОРАЛИСТЪ.



КРИТИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Барона Р. А. Дистерло.
R. A. Disternlo



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. А. Левеева. Невскій просп. д. 8.

1887.

891.78

T650

D6

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Издавая особою книжкою настоящіе очерки, печатавшіеся въ прошломъ году отдѣльными статьями въ „Недѣлѣ“, считаю не лишнимъ предупредить читателя, чтобы онъ не искалъ въ нихъ подробнаго разбора и всесторонней оцѣнки произведеній графа Л. Н. Толстого. Журнальная работа не могла задаваться подобными цѣлями, для осуществленія которыхъ въ данномъ случаѣ потребовался бы объемистый трудъ и много времени. Въ своихъ очеркахъ я имѣлъ, главнымъ образомъ, въ виду—намѣтить основныя идеи въ творествѣ нашего знаменитаго писателя.

Собирая эти очерки въ одно цѣлое, я надѣюсь, что въ такомъ видѣ они болѣе будутъ отвѣчать своей задачѣ и, быть можетъ, ока-

1*

жуются небезынтересными для читателей. Общій характеръ и сущность содержанія очерковъ остаются безъ измѣненія въ настоящемъ изданіи, хотя въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сдѣланы довольно значительныя исправленія и добавленія.

Авторъ.

I.

Общая характеристика графа Толстого, какъ мыслителя.

Имя графа Л. Н. Толстого вызываетъ въ представленіи современной читающей публики два образа: образъ поэта, подарившаго намъ такія геніальныя произведенія, какъ «Война и Миръ» и «Анна Каренина», и образъ проповѣдника, подвижника нравственной идеи. Прошло уже около десяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ графъ Толстой бросилъ перо романиста и всецѣло отдался исканію той правды, которая могла-бы отвѣтить на вѣчные вопросы человеческого сознанія. Эта новая дѣятельность знаменитаго писателя не осталась безплодною: скоро въ общество и въ печать стали проникать тѣ идеи, на которыхъ остановился нашъ художникъ-философъ, въ которыхъ онъ призналъ силу и способность удовлетворить духовныя потребности современнаго человека. И несмотря на широкую извѣстность Л. Толстого, какъ романиста, несмотря на громкую славу первокласснаго художника, которая въ настоящее

время признана за нимъ не только у насъ, но и во всемъ цивилизованномъ мірѣ, общество наше пристальнѣе смотритъ на второй образъ писателя—образъ философа, и съ бѣльшимъ вниманіемъ прислушивается къ словамъ открываемаго нравственнаго ученія, чѣмъ къ мыслямъ художника.

Что-же такое графъ Л. Толстой, какъ философъ, какъ проповѣдникъ? Въ чемъ сущность и характеръ его идеи? Чѣмъ отличается его философія отъ другихъ направленій нашего вѣка? И, наконецъ, въ чемъ ея значеніе?

Толстой рѣзко и глубоко отличается отъ господствующихъ въ нашъ вѣкъ теченій мысли. Его внутренняя фizioномія въ высокой степени своеобразна и оригинальна. И, что важно для насъ, эта оригинальность восходитъ къ тѣмъ основнымъ принципамъ духовной жизни челоѣка, различіемъ которыхъ опредѣляются цѣлыя историческія эпохи.

Девятнадцатый вѣкъ называютъ иногда вѣкомъ отрицанія и сомнѣнія. Глубоко-ошибочный взглядъ! Если въ сужденіи своемъ объ этомъ вѣкѣ мы не ограничимся послѣднимъ десятилѣтіемъ, составляющимъ уже скорѣе переходъ къ новому времени, если присмотримся къ его молодости и зрѣлости, а не только къ моменту его отживанія, то увидимъ, что признаки отрицанія и сомнѣнія для него вовсе не характерны. Эти признаки несравненно полнѣе исчерпываютъ содержаніе *предъидущаго* столѣтія, восемнадцатаго, которое дѣйствительно разрушило міросозерцаніе прежняго челоѣка, не давъ ему взамѣнъ ни-

чего положительнаго, и только въ самомъ концѣ, при послѣднемъ своемъ издыханіи, произвело идею, блестящимъ образомъ развитую въ девятнадцатомъ вѣкѣ. До восемнадцатаго столѣтія—и чѣмъ дальше въ глубь вѣковъ, тѣмъ больше и полнѣе—человѣкъ жилъ религіозною идеею. Присмотритесь къ душевному строю средневѣковаго человѣка, вчитайтесь въ задушевнѣйшія мысли писателей этой эпохи, вдумайтесь въ такіе факты политической жизни, какъ судъ духовной инквизиціи, какъ казнь альбигойцевъ, какъ религіозныя войны, и вы поймете, до какой степени полно и искренно человѣкъ этого времени не признавалъ за собою права на земныя радости, на земное счастье.

Но подавляемыя потребности наслажденія не могли быть однако вовсе истреблены въ душѣ человѣка; а оставаясь жить въ ней, онѣ неизбѣжно вступали въ борьбу съ началомъ, требующимъ постояннаго самоограниченія. Эти потребности и явились тѣмъ живымъ стимуломъ, который направилъ разумъ на критику господствующей религіозной дисциплины. Намъ нѣтъ надобности слѣдить здѣсь за ходомъ этой отрицательной работы разума; достаточно напомнить, что въ девятнадцатомъ вѣкѣ средневѣковая система рухнула подъ звуки беспощадной насмѣшки и ироніи великаго представителя вѣка—Вольтера.

Но человѣкъ восемнадцатаго вѣка недолго оставался безъ руководящей идеи: въ душѣ его уже созрѣвала новая вѣра, которая въ концѣ столѣтія произвела революцію 1789 года. Съ этого года въ сущ-

ности и начинается та новая эпоха, которую мы называемъ девятнадцатымъ вѣкомъ, такъ какъ именно тогда высказана была идея, принятая и развитая этимъ вѣкомъ. Прежній человѣкъ вѣрилъ въ блаженство загробное, человѣкъ девятнадцатаго вѣка увѣроваль въ блаженство земное, увѣроваль въ свой разумъ, силою котораго онъ надѣялся основать царство счастья на землѣ.

Смѣлъ и увлекателенъ былъ этотъ порывъ человеческого духа, когда послѣ средневѣкового страха жизни и боязни ея радостей, человѣкъ открыто и прямо сказалъ: хочу счастья и хочу его здѣсь, на землѣ. Но это стремленіе къ счастью не было только инстинктомъ, только эгоистическимъ порывомъ освобожденнаго человѣка; оно возведено было въ принципъ и притомъ не индивидуальной только, но всечеловѣческой жизни. Въ девятнадцатомъ вѣкѣ уже невозможнымъ оказалось то цѣльное, жизнерадостное существованіе, которымъ характеризуется античный, языческій міръ; человѣкъ слишкомъ привыкъ уже жить сознательно и уже не могъ отдаваться непосредственному процессу жизни; ему необходима была сознательная цѣль, необходимы были извѣстныя правила жизни. Эту цѣль и эти правила онъ нашелъ въ томъ культѣ человечества, который успѣлъ вырасти на почвѣ указаннаго стремленія къ благамъ земной жизни. Ту мечту всеобщаго счастья, тотъ золотой вѣкъ, тотъ роскошный эдемъ, которые для древнихъ народовъ Азіи и Европы были только преданіями незапамятной старины или лишь поэтическимъ вымысломъ,

человѣкъ девятнадцатаго вѣка сдѣлалъ своимъ идеаломъ, поставилъ передъ собою, какъ цѣль, которая манила его въ будущее. Онъ вѣрилъ, что можетъ осуществить эту мечту, вернуть этотъ золотой вѣкъ, создать этотъ эдемъ. И если эта наивная вѣра не можетъ не вызвать улыбку у нашего скептического времени, то мы не должны забывать, что въ началѣ разсматриваемой эпохи это была дѣйствительно искренняя и горячая вѣра. Этою вѣрою дышать всѣ произведенія того времени: возьмите «декларацию правъ человѣка и гражданина», возьмите различные конституціи революціонной Франціи, возьмите сочиненія Кабэ, Фурье или Сень-Симона—и вы всюду увидите эту неизмѣнную вѣру въ возможность человѣку устроить свое счастье. Она естественно вытекала изъ двухъ источниковъ: изъ вѣры въ человѣческій разумъ и изъ вѣры въ развитіе, въ *прогрессъ*. Это последнее слово, быть можетъ, самое характерное для всего девятнадцатаго столѣтія.

Двумя путями можетъ человѣкъ приближаться къ счастью: или въ себѣ самомъ, въ своей внутренней личности онъ вырабатываетъ условія счастья, или же онъ заставляетъ служить себѣ внѣшній міръ и приспособляетъ его для этого. Средніе вѣка шли первымъ путемъ, девятнадцатое-же столѣтіе смѣло и рѣшительно вступило на второй.

Пожелавъ счастья, человѣкъ нашего вѣка призналъ себя величиною, не подлежащею измѣненію, и всѣ свои силы направилъ на приспособленіе внѣшнихъ условій. Настоящее человечества было да-

леко отъ желаемого идеала; но человѣкъ видѣлъ, какъ съ каждымъ десятилѣтіемъ растутъ его силы, какъ увеличиваются его средства въ борьбѣ съ природою, и продолжая въ своемъ воображеніи этотъ ростъ безпредѣльно, убѣждался, что его надежды не напрасны. Онъ надѣялся, что развивающаяся наука и техника сдѣлаютъ его независимымъ отъ внѣшней природы и, главное, научатъ его устроить наилучшимъ образомъ междучеловѣческія отношенія.—Началась гигантская работа. Всѣ свои силы вложила западная Европа въ эту задачу и трудилась съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, съ безпримѣрною энергіею и настойчивостью. И, нужно сказать, результатъ работы получился грандіозный. Волшебной сказкой, несбыточной мечтой показалась-бы наша современная жизнь не только какому-либо представителю эпохи «кулачнаго права», но даже и болѣе просвѣщенному семнадцатому столѣтію. Научныя открытія и техническія изобрѣтенія, примѣненные къ индустріи, къ способамъ передвиженія, къ быту частныхъ лицъ, до такой степени возвысили и видоизмѣнили нашу культуру, что съ нею уже не можетъ соперничать ни одна изъ извѣстныхъ намъ въ исторіи цивилизацій. Рядомъ съ этимъ шло развитіе и государственныхъ отношеній: современное государство есть изумительно сложный и тонкій механизмъ, способный осуществлять цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ и часто весьма трудныхъ задачъ общегитія.

Но, среди всѣхъ этихъ успѣховъ, достигъ-ли че

ловѣкъ счастья? По крайней мѣрѣ, приблизился-ли онъ къ нему, сталъ-ли счастливѣе своего мрачнаго средневѣковаго предшественника?

Нѣтъ! должны мы сказать. И теперь счастье — все тотъ-же призракъ, тотъ-же миражъ пустыни, къ которому тщетно старается подойти караванъ прогрессирующаго человѣчества. Незамѣтно даже и приближенія къ нему. Зато рѣзко обозначаются признаки разочарованія современнаго человѣка, признаки изсякновенія въ немъ той вѣры, которою жило наше столѣтіе. Наболѣе-же прозорливые умы Запада (Тэнъ, Спенсеръ) въ приближающемся будущемъ, въ надвигающихся волнахъ демократіи указываютъ новое «грядущее рабство» человѣка, эпоху новыхъ страданій, а не эпоху счастья.

И вотъ, въ то время, какъ западный человѣкъ стоитъ, задумавшись, на вершинѣ недостроеннаго имъ колоссальнаго зданія и, несмотря на неудачи своихъ предшественниковъ, все еще не теряетъ надежды завершить его при помощи новыхъ пріемовъ строительства,—изъ глубины Россіи, которая если и участвовала въ культурной работѣ вѣка, то далеко не съ тѣмъ напряженіемъ, какъ западная Европа, и далеко не всѣми своими силами, раздается смѣлый и увѣренный голосъ, говорящій: пусть даже достроится зданіе цивилизаціи, пусть человѣкъ вполнѣ и безъ границъ овладѣетъ внѣшнимъ міромъ для удовлетворенія своихъ потребностей, пусть общественное устройство человѣчества приблизится къ состоянію идеальной справедливости, — человѣкъ все-таки

не будетъ счастливъ и не перестанетъ страдать, не перестанетъ потому, что водворившееся спокойствіе, довольство и безопасность неспособны удовлетворить неистребимыхъ потребностей человѣческаго духа. Эти потребности вполнѣ самостоятельны и незамѣнимы: съ удовлетвореніемъ прочихъ требованій человѣческаго организма, онѣ не только не прекращаются и не ослабѣваютъ, но, скорѣе, усиливаются. По самой же природѣ своей онѣ не допускаютъ удовлетворенія изъ внѣшняго міра, а могутъ быть утолены только продуктами духовной дѣятельности, только путемъ разработки внутренней личности человѣка. Между тѣмъ, практическій девятнадцатый вѣкъ не откликнулся на эти запросы духа и, богатый матеріально, ничего не можетъ предложить духовной жаждѣ человѣка. Увлеченный кипучею и трудною работою соціального устройства, весь отдавшійся политической идеѣ, этотъ вѣкъ забылъ живую конкретную личность. Этотъ вѣкъ называютъ, правда, вѣкомъ индивидуализма, вѣкомъ личной свободы, но индивидуализмъ его только политическій, личность для него только абстрактный принципъ, сообразно которому должно быть построено государство. Являясь вообще эпохою внѣшней дѣятельности, эпохой активного приспособленія жизни, девятнадцатый вѣкъ въ частности можетъ быть названъ эпохою политической. Политическіе задачи и вопросы всего болѣе занимали его мысль и возбуждали его страсти; попытки осуществленія политическихъ идеаловъ создали самыя крупныя, самыя значительныя его событія. По-

литическая идея властвовала надъ сознаніемъ человека и подчинила себѣ всѣ сферы его умственной дѣятельности: къ политикѣ пришла господствующая философія вѣка, поставившая на вершинѣ научной іерархіи соціологію; проникла политическая струя и въ поэзію и заставила ее сдѣлаться выразительницей политическихъ идеаловъ, симпатій и негодованій; наконецъ, даже этика, и та бѣжала изъ внутренняго міра человека и въ характерной формѣ утилитаризма опять-таки требовала служенія обществу. Политика сдѣлалась для многихъ людей дѣломъ всей ихъ жизни, группировала ихъ въ партіи, разрывала старинныя, кровныя узы, устанавливала новыя связи. Словомъ, если-бы мы рассматривали девятнадцатый вѣкъ какъ художественное произведеніе, то могли-бы сказать, что его паѳосъ — въ политикѣ, что политика обнимаетъ трагедію вѣка.

Читатель, конечно, уже догадался, что упомянутый нами голосъ, раздавшійся протестомъ противъ односторонняго направленія нашего вѣка, принадлежитъ графу Л. Толстому. Въ его лицѣ судьба какъ-бы нарочно хотѣла произвести экспериментъ самостоятельности и живучести духовныхъ потребностей человека. По собственнымъ словамъ графа, которыя нисколько не противорѣчатъ тому, что извѣстно о его личной жизни, онъ пользовался матеріальнымъ достаткомъ, хорошимъ здоровьемъ, имѣлъ прекрасную семью; кромѣ того, онъ имѣлъ славу, рѣдкую славу первокласснаго художника, пользовался всеобщимъ уваженіемъ и несмотря на это, онъ не былъ

счастливы, онъ мучительно страдалъ отъ неразрѣшенныхъ вопросовъ жизни, отъ невозможности удовлетворить своимъ духовнымъ потребностямъ. «Зачѣмъ мнѣ жить, зачѣмъ что-нибудь желать, зачѣмъ что-нибудь дѣлать? Что выйдетъ изъ того, что я дѣлаю нынче, что буду дѣлать завтра, — что выйдетъ всей моей жизни? Есть-ли въ этой жизни такой лъ, который не уничтожился-бы неизбежно предъ мною смертию?» Вотъ какой вопросъ ставило въ немъ сознание и неотступно требовало отвѣта. Такая его страшною тоскою и тѣмъ ощущеніемъ избытка и ненужности жизни, отъ котораго хочется уйти хотя-бы путемъ самоубійства. Отвѣтъ на этотъ вопросъ, или смерть—къ такой дилеммѣ свелась внутренняя жизнь автора «Исповѣди»: иначе нельзя было отъ вопроса, такъ какъ нельзя перестать сознавать, что сознаешь.

Часто приходится слышать, что поставленный графомъ Толстымъ вопросъ есть вопросъ праздный, что тоска его разрѣшенія можетъ терзать только людей непокорныхъ общему закону труда, не знающихъ куда дѣвать свой обезпеченный досугъ, и что эти терзанія совершенно чужды тому, кто долженъ зарабатывать себѣ «хлѣбъ насущный». Мы не можемъ не отмѣтить здѣсь, что подобное отношеніе къ вопросу въ дѣйствительности встрѣчается чаще у людей практическихъ, много трудящихся, въ которыхъ постоянно прикована къ какому-нибудь спеціальному дѣлу и потому недоступна для нихъ вопросовъ человѣческаго сознанія. Уже одно

это даетъ основаніе предполагать, что люди эти— плохіе судьи въ вопросѣ, имѣвшемъ такое трагическое значеніе для гр. Толстого. По существу-же мнѣніе ихъ не только не отрицаетъ возможности такого вопроса, но даже нисколько не уменьшаетъ его значенія. Вѣдь одно изъ двухъ: или обязательный трудъ не допускаетъ въ сознаніе этотъ вопросъ, такъ сказать, вытѣсняетъ его изъ мысли человѣка, или трудящійся не терзается этимъ вопросомъ потому, что въ самомъ трудѣ находитъ отвѣтъ на него, удовлетвореніе своихъ душевныхъ стремленій. Но первый случай вовсе не исключаетъ возможности появленія этого вопроса у всякаго человѣка, разъ только облегчено будетъ его положеніе, и доказываетъ лишь то, что постоянно-трудовая жизнь не даетъ человѣку возможности развить всю полноту своей личности и подавляетъ въ немъ много духовныхъ потенцій; второй-же—прямо предполагаетъ вопросъ и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и отвѣтъ на него. Слѣдовательно, во всемъ этомъ возраженіи нѣтъ ни одного аргумента противъ общечеловѣческаго значенія поднятаго гр. Толстымъ вопроса. За такое-же его значеніе говорятъ какъ его элементарность и психологическая необходимость, такъ и историческіе факты, показывающіе, что съ тѣхъ поръ, какъ челоѣчество помнитъ себя, оно знаетъ и этотъ вопросъ. Религіи, начало которыхъ теряется во мракѣ времени, представляются въ сущности ничѣмъ инымъ, какъ отвѣтомъ на него.

Оказывается, слѣдовательно, что графъ Толстой поднималъ старый, лучше сказать, вѣчный вопросъ

въ которомъ нѣтъ ничего существенно новаго, оригинальнаго. Оригинально только самое возбужденіе, самая постановка вопроса въ то время, когда кругомъ считали его давно порѣшеннымъ и о немъ не думали (кромѣ небольшой группы несолидарныхъ съ вѣкомъ людей). Возбужденіе этого вопроса характеризуетъ графа, какъ умъ въ высшей степени самостоятельный и глубоко скептическій. Независимые, пытливые, чуждые пассивной воспріимчивости, лишенные способности видѣть истину въ господствующемъ въ ихъ время мнѣніи, эти умы бываютъ обыкновенно поворотными точками въ исторіи умственной жизни человѣчества. Мы уже видѣли, что современное графу Толстому человѣчество представляло какъ-бы гигантскій муравейникъ, гдѣ каждый муравей считалъ своимъ долгомъ и своимъ назначеніемъ стремиться къ усовершенствованію цѣлой кучи и въ этомъ усовершенствованіи видѣлъ достаточную цѣль и своей личной жизни. Очевидно, что такое представленіе цѣли и смысла жизни могло удовлетворять человѣка только до тѣхъ поръ, пока онъ въ него вѣровалъ, пока относился къ нему наивно, некритически; при первомъ-же прикосновеніи испытующей мысли, представленіе это необходимо разваливалось, такъ какъ въ немъ въ сущности нѣтъ никакого отвѣта на вопросъ о цѣли жизни, а только перестановка, перифразъ самаго вопроса, который теперь являлся въ формулѣ: зачѣмъ мнѣ содѣйствовать благосостоянію и развитію человѣчества, когда смерть неизбежно оторветъ меня отъ этого человѣчества, и

я перестану быть чѣмъ либо для него, оно — для меня. Не удовлетворило это вѣрованіе вѣка и графа Толстого. Въ своемъ скептицизмѣ онъ не могъ остановиться на полдорогѣ и продолжалъ искать отвѣта на свое: зачѣмъ? «Зачѣмъ жить, искать чего-либо, что-нибудь дѣлать, когда не нынче-завтра придутъ болѣзни и смерть, и ничего не останется кромѣ смрада и червей»...

Гдѣ-же искать отвѣта на этотъ вопросъ? Графъ Толстой прежде всего обратился къ знанію, и въ наукѣ, въ этой гордости современнаго человѣка, искалъ объясненій на вѣчные вопросы жизни. Но, ознакомившись съ ея характеромъ, графъ пришелъ къ мысли, что наука не можетъ дать отвѣта на поставленный вопросъ. Этотъ тезисъ не заключаетъ въ себѣ ничего неожиданнаго, противъ него едва-ли кто-либо будетъ спорить въ наше время; но тезисъ этотъ въ высшей степени характеренъ для переживаемой нами эпохи и ведетъ современную мысль ко многимъ весьма важнымъ выводамъ. Этимъ-же тезисомъ обусловлены и дальнѣйшіе выводы графа. Придя къ убѣжденію, что наука, вообще разумъ неспособенъ разрѣшить основныхъ вопросовъ человѣческаго сознанія, и зная, однако, что вопросы эти разрѣшались въ исторіи, графъ Толстой сталъ искать другого источника ихъ разрѣшенія и нашелъ его — *въ* *смерть*. Въ этомъ словѣ—центръ тяжести всей фило-софіи автора «Исповѣди», въ этомъ словѣ—то новое, что привлекло къ ней вниманіе общества. Привычная намъ, господствовавшая въ девятнадцатомъ сто-

лѣтіи, раціоналистическая философія раскалывала человѣческую личность и провозглашала верховенство одного ея элемента—разуму. Всю сферу сознательной жизни человѣка она подчиняла разуму и въ немъ видѣла единственное средство для удовлетворенія всѣхъ духовныхъ потребностей. Она признавала за истину только то, что можно было доказать изъ разума, что допускало логическую повѣрку. Усомнившись въ универсальномъ значеніи разума, графъ Толстой обратился къ другой способности человѣка, никогда собственно не перестававшей въ немъ дѣйствовать, но забытой теоретиками и мыслителями. Для истины онъ требовалъ не логическаго основанія, а той внутренней ея силы, которая удовлетворяетъ живого человѣка. Въ дѣйствительности человѣкъ сплошь и рядомъ живетъ не тѣми идеями и правилами, которыя можетъ разумно доказать, а тѣми, въ которыя онъ вѣритъ, которыя признаетъ интуитивно и сообразно которымъ обыкновенно дѣйствуетъ. Эту-то практическую способность Толстой возводитъ въ основной принципъ своего ученія. «Вѣруй и спасенъ будешь» — говоритъ онъ.

Но вѣра спасетъ только дѣйствительно вѣрующаго, а не того, кто лишь сознаетъ ея спасительную силу. Философія-же Толстого, какъ намъ кажется, способна привести именно къ этому послѣднему результату. Она ясно раскрываетъ значеніе вѣры, но не даетъ ей итительнаго содержанія. Она возбуждаетъ желаніе вѣры, но въ ней не во что вѣрить. Ав- «Исповѣди» говоритъ, что онъ принялъ вѣру

народа, принявъ христіанство, но вѣра эта не сообщается читателю,—не сообщается, быть можетъ, потому, что для увлеченія въ вѣру нужны фанатики, пророки, «глаголомъ жгущіе сердца людей»; въ лицѣ же графа Толстого передъ нами всегда человѣкъ анализа, всегда скептикъ. Вѣрить просто, какъ вѣрить народъ и дѣти, графъ не можетъ; онъ не можетъ не относиться критически, а потому не могъ принять и всего ученія вѣры, со всѣми его атрибутами. Самое евангеліе графъ въ сущности не проповѣдуетъ, а *доказываетъ*, и, что въ высшей степени характерно, доказываетъ значеніемъ его для земной жизни, для земного счастья чловѣка (См. въ особенности: «Въ чемъ счастье?»).

Въ концѣ концовъ оказывается, что вѣра и христіанскія истины необходимы чловѣку потому, что ими обуславливается самое совершенное, самое глубокое, самое чловѣчное счастье.

А что-же основной вопросъ о смыслѣ жизни? Развѣ теперь мы не можемъ спросить: зачѣмъ это высокое счастье, когда завтра придетъ смерть и унесетъ меня въ бездну небытія? На этотъ вопросъ философія графа Толстого опредѣленно не отвѣчаетъ. Чловѣкъ девятнадцатаго столѣтія не умеръ въ немъ...

Обращаясь къ этой связи философіи гр. Толстого съ умственнымъ движеніемъ вѣка, мы не можемъ не отмѣтить того значенія, которое имѣлъ для нея позитивизмъ. Позитивная философія, какъ извѣстно, признала полную несостоятельность и безсиліе чловѣческаго разума въ вопросахъ о конечныхъ цѣляхъ

и причинахъ и, отмежевавъ себѣ область реальныхъ явленій, вовсе перестала заниматься этими метафизическими, по ея терминологіи, вопросами. Такимъ образомъ приведенный выше тезисъ графа Толстого, что наука не можетъ объяснить смысла и цѣли жизни,—этотъ тезисъ былъ подготовленъ работою позитивной мысли. А потому и вытекающее изъ этого тезиса исканіе новыхъ источниковъ истины также было обусловлено началами позитивной философіи. Прежде чѣмъ искать этихъ новыхъ источниковъ, человечеству необходимо было изжить свою вѣру въ разумъ, который до появленія позитивизма не переставалъ дѣлать попытки къ разрѣшенію всѣхъ вопросовъ духа и въ качествѣ такихъ попытокъ оставилъ намъ много великолѣпно построенныхъ философскихъ системъ.

Но если фаза позитивнаго направленія человеческой мысли должна была предшествовать идеямъ гр. Толстого, то самыя идеи его далеко не укладываются въ рамки позитивизма. Въ то время, какъ адепты позитивной школы все еще признавали разумъ и его методы единственными путями къ истинѣ и, ограничивъ его значеніе, съумѣли какимъ-то непостижимымъ образомъ вовсе отказаться отъ тѣхъ вопросовъ, на которые онъ не могъ отвѣчать, и успокоились на разрѣшеніи относительныхъ и ограниченныхъ проблемъ знанія, — въ это время графъ Толстой не переставалъ стремиться къ рѣшенію вѣчныхъ вопросовъ жизни, и разувѣрившись въ старомъ раціональномъ пути, сталъ на новый путь—

путь вѣры. Съ другой стороны, связь вѣка съ гр. Толстымъ проявляется въ указанной уже нами особенностях его философіи, которая заставляетъ видѣть въ немъ прежде всего не вѣрующаго въ опредѣленные догматы, а *теоретика* вѣры, утверждающаго принципъ вѣры для человѣческой жизни. Эти-то черты, сближающія гр. Толстого съ его временемъ, и дѣлаютъ его родственнымъ намъ и обуславливаютъ то вліяніе, которымъ онъ пользуется.

Французскій критикъ де-Вогюэ, въ своей статьѣ о гр. Толстомъ (*Les écrivains russes contemporains. Revue des deux Mondes*, 15 juillet 1884), говоритъ, что западный человѣкъ, какимъ критикъ несомнѣнно считаетъ и себя, не найдетъ въ философіи графа «оригинальной мысли; онъ увидитъ въ ней только первый лепетъ раціонализма, старую мечту о мелленіумѣ, преданіе, постоянно возобновлявшееся съ начала среднихъ вѣковъ — у вальденцовъ, лоллардовъ, анабаптистовъ», и затѣмъ восклицаетъ: «Счастливая Россія—для нея еще новы эти прекрасныя фантазіи!»—Этотъ взглядъ почтеннаго критика мы считаемъ глубоко ошибочнымъ. Философія графа Толстого, какъ мы старались показать, есть органическій продуктъ девятнадцатаго вѣка, который вовсе не безслѣдно прошелъ для Россіи, какъ думаетъ критикъ. Философія эта—не «первый лепетъ раціонализма», а напротивъ, реакція цѣльной человѣческой личности противъ исключительнаго господства разума, противъ исключительно внѣшняго направленія человѣческой дѣятельности, и если признаки раціонализма дѣйстви-

тельно присущи этой философіи, то не потому, что она есть пробужденіе раціонализма, какъ это было въ средніе вѣка, а потому, что авторъ ея не могъ избавиться отъ нихъ, какъ сынъ своего вѣка. И если Россіи дѣйствительно суждены какія-либо «прекрасныя фантазіи», то, послѣ всего пережитаго, фантазіи эти не могутъ быть простымъ повтореніемъ старыхъ иллюзій...

Какъ видитъ читатель, мы не имѣли въ виду разбирать самое *содержаніе* философскихъ произведеній гр. Толстого; мы хотѣли только охарактеризовать его какъ интересное явленіе русскаго духа. Впослѣдствіи мы вернемся къ этимъ произведеніямъ; теперь - же рассмотримъ, въ какомъ отношеніи стоятъ они къ *художественной* дѣятельности гр. Толстого.

II.

Общая характеристика художественного творчества графа Толстого.

Говоря о позднѣйшихъ нравственно-философскихъ произведеніяхъ графа Л. Н. Толстого, мы признали въ немъ представителя того новаго въ девятнадцатомъ столѣтіи направленія мысли, которое, минуя политическіе интересы и злобы, отправляется отъ конкретной человѣческой личности и ищетъ отвѣта на неизбѣжные, вѣчные вопросы сознанія, — тѣ вопросы, въ которыхъ скрывается смыслъ человѣческой жизни. Остановливаясь теперь передъ тѣмъ, что создалъ графъ Толстой какъ художникъ, и желая опредѣлить общій характеръ и значеніе его художественнаго творчества, мы естественно приходимъ къ вопросу объ отношеніи, существующемъ между двумя различными элементами дѣятельности знаменитаго писателя — философскимъ и художественнымъ. Являются-ли философскія произведенія гр. Л. Н. Толстого съ ихъ характернымъ содержаніемъ чѣмъ-то неожиданнымъ въ литературной карье-

рѣ давно знакомаго намъ художника, — чужды-ли они той умственной фizioноміи писателя, которая выступаетъ передъ нами изъ его художественныхъ созданій, оторвался-ли онъ отъ своего духовнаго прошлаго, вступивъ на новый путь дѣятельности, какъ думаютъ многіе, или, напротивъ, не проникнуты-ли художественныя концепціи и философскія проблемы нашего автора тѣмъ внутреннимъ единствомъ, которое позволило-бы видѣть въ нихъ произведенія одной и той-же вѣрной себѣ личности, не существуетъ-ли даже извѣстной преемственной связи между поэтическимъ творчествомъ и философскими исканіями графа Толстого (это мнѣніе также было высказано въ нашей литературѣ) — вотъ вопросъ, на который мы постараемся отвѣтить прежде всего. Мы начинаемъ съ этого вопроса характеристику художественнаго творчества Л. Н. Толстого еще и по соображеніямъ логической цѣлесообразности. Дѣло въ томъ, что признакъ, которымъ мы опредѣлили характеръ философскихъ воззрѣній гр. Толстого, въ высшей степени удобопримѣнимъ и къ художественнымъ произведеніямъ и по значенію своему способенъ стать основаніемъ едва-ли не самой общей и широкой ихъ классификаціи.

Поэзія или словесное творчество отъ начала своего возникновенія и понынѣ тяготѣла всегда къ двумъ различнымъ центрамъ, направлялась двумя различными интересами — интересомъ къ внѣшнему міру и его явленіямъ и интересомъ къ содержанію внутренней жизни человѣка. Это дѣленіе на первый

взглядъ кажется тождественнымъ съ общепринятымъ въ курсахъ эстетики дѣленіемъ поэзіи на эпическую и лирическую. Однако, принять это тождество было-бы ошибочно. Дѣленіе поэзіи на эпическую и лирическую есть дѣленіе формальное, основанное исключительно на формѣ поэтическихъ произведеній. Поэтому оно, во-первыхъ, не обнимаетъ всей сферы поэзіи и останавливается у границъ третьяго рода поэтического творчества—драмы, и, во-вторыхъ, относитъ къ лирикѣ лишь тѣ произведенія, гдѣ нѣтъ объективнаго изображенія жизни, гдѣ авторъ говорить отъ своего собственнаго лица; все-же прочее, какихъ-бы глубинъ внутренней жизни оно ни касалось, обнимается въ понятіи эпоса. Намѣченная-же нами классификація основывается на *содержаніи* произведенія, на мотивѣ творчества, на точкѣ зрѣнія художника. Поэтому она обнимаетъ всѣ произведенія изящнаго слова, не исключая и драмы, которая можетъ разрабатывать и чисто психологическій сюжетъ, а можетъ также воспроизводить и различіе бытовыхъ типовъ. Въ этомъ отношеніи интересно сравнить, напр., трагедіи Шекспира, раскрывающаго намъ тайны человѣческаго духа, и комедіи или драмы Островскаго, рисующаго бытъ московскаго купечества. Но если Шекспиръ и Островскій сравнительно легко распредѣляются по разнымъ категоріямъ предлагаемой классификаціи, то нельзя сказать, чтобы операція эта вообще была легко выполнима; относительно-же нѣкоторыхъ писателей она представляетъ, какъ и всякая классификація, весьма

значительныя трудности. Трудности эти зависят, главнымъ образомъ, отъ того, что жизнь человѣка—этотъ неизмѣнный предметъ поэзіи—есть соединеніе элементовъ внутренняго и внѣшняго: человѣкъ не живетъ только внутреннею жизнью, только идеями и настроеніями, но необходимо принадлежитъ и внѣшнему міру. необходимо занимаетъ въ немъ определенное мѣсто и своими дѣйствіями и отношеніями къ природѣ и людямъ необходимо создаетъ извѣстную форму своей жизни; съ другой стороны—внѣшняя оболочка жизни, явленія и формы человѣческаго быта возникли не сами собой изъ внѣшняго міра, существуютъ и развиваются не изъ самихъ себя, не дѣйствіемъ постороннихъ человѣку силъ природы, но суть продукты и проявленія духовной дѣятельности человѣка. Изображая дѣйствительность человѣческой жизни, поэзія естественно беретъ ее во всемъ ея составѣ, съ ея тѣлесными формами и внутреннимъ содержаніемъ, и еслибы мы должны были основывать нашу классификацію поэтическихъ произведеній на исключительномъ присутствіи какого-либо одного изъ указанныхъ элементовъ, наша задача была-бы совершенно невыполнима. Полнаго раздѣленія этихъ элементовъ не существуетъ ни въ одномъ произведеніи (кромѣ чисто лирическихъ пьесъ, о которыхъ мы здѣсь не говоримъ, такъ какъ имѣемъ въ виду только объективное творчество), и только въ весьма немногихъ—художественный анализъ, очищая избранный сюжетъ отъ всего посторонняго, дѣлаетъ очевиднымъ несомнѣнное преобладаніе того или другого элемента.

Такія внутреннія драмы человѣческаго духа, какъ «Фаустъ» Гете, «Прометей» Эсхила и т. под., не вызываютъ, конечно, разногласія при ихъ классификаціи, какъ не вызовутъ его съ другой стороны произведенія общественной сатиры съ ихъ «Разуваевыми», «Помпадурами», «Прокопами», «Дыбами» и т. д. Но какъ быть передъ другими произведеніями, какъ быть передъ реальнымъ романомъ, передъ современною комедіею, гдѣ нераздѣльно слиты моменты внутренней и внѣшней жизни? Здѣсь необходима уже строгая и правильная постановка вопроса о классификаціи, необходимо точное опредѣленіе ея основанія. Основаніемъ этимъ остается все та-же указанная нами уже принадлежность произведенія внутреннему или внѣшнему міру, средствомъ-же распознаванія этой принадлежности должна быть творческая идея художника, замыселъ, воплотившійся въ данномъ произведеніи, та точка зрѣнія, съ которой смотрѣлъ художникъ на жизнь въ моментъ творчества. Стремился-ли онъ показать намъ содержаніе душевной жизни человѣка, раскрыть судьбу и законы его страстей и желаній, или его интересовала та или другая форма быта, складъ жизни семейной и общественной, существующей въ извѣстномъ мѣстѣ, характерный для извѣстнаго времени и народа—вотъ что должно рѣшать вопросъ о принадлежности даннаго произведенія къ той или другой категоріи указанной системы. Съ такимъ критеріемъ мы не ошибемся уже въ опредѣленіи характера художественнаго произведенія, какъ-бы ни переплетались въ немъ

элементы внѣшней жизни съ внутренними состоя-
ніями человѣческой души. Возьмемъ, напримѣръ,
Достоевскаго и Тургенева, характери-
стическихъ съ указанной точки зрѣнія пред-
метовъ, быть можетъ, наиболѣе трудностей. Но
на всѣ эти трудности, мы имѣемъ однако
возможность раздѣлить съ помощью найден-
герія всѣ произведенія этихъ писателей
группы. Такіе романы Достоевскаго, какъ
«Преступленіе и наказаніе», «Подростокъ»
съ ними такія Тургеневскія повѣсти, раз-
сказы, какъ «Пѣснь торжествующей люб-
ви», «Вешнія воды», «Лишній человѣкъ»
въ одну группу произведеній съ психоло-
гической концепціей; между тѣмъ какъ «Бѣсы» и
«Идиотъ» Достоевскаго и всѣ крупныя
произведенія Тургенева, его «Рудинъ», «Накану-
рянское гнѣздо», «Отцы и дѣти», «Дымъ»
все это запечатлѣно уже другимъ характе-
ромъ произведеній, стремящихся пред-
вѣстную общественную эпоху, создать типы
жизни, являющіеся намъ въ потокѣ
исчезающіе съ его уходящими волнами.
Характеристикѣ доступны не только отдѣльныя
произведенія, но и самая личность
писателя. Всякій писатель непременно тяготѣетъ
или къ внѣшней жизни лич-
ности, или къ явленіямъ и возможностямъ социаль-
наго міра. Такъ и изъ названныхъ нами худож-
никовъ Достоевскаго непрестанно манятъ вершины

и бездны человеческого духа, и это стремление въ немъ настолько сильно и постоянно, что онъ не можетъ удержаться въ предѣлахъ какой-либо соціальной темы и уходитъ всегда изъ рамокъ бытовой картины въ глубину психологического анализа. Въ Тургеневѣ—другая складка: его интересуется преимущественно не самъ по себѣ человекъ, не тѣ характеры и положенія, въ которыхъ всего разительнѣе и ярче проявились-бы основныя силы его психической природы, но та культурная атмосфера, тѣ умственные, идейныя теченія въ человеческихъ обществахъ, которыя смѣняются едва-ли не съ каждымъ поколѣніемъ и которыя направляютъ сознательную дѣятельность человека.

Если мы обратимся теперь къ графу Толстому, то увидимъ, что все его творчество насквозь проникнуто неизмѣннымъ и напряженнымъ интересомъ къ человеку, къ его личной жизни. Каждое произведение его раскрываетъ намъ что-либо изъ этой жизни. Повѣсть «Дѣтство, отрочество, юность» показываетъ намъ послѣдовательныя фазы жизни растущаго и развивающагося человека, схватываетъ своеобразную психологію cadaго возраста; «Севастопольскіе и кавказскіе рассказы» изображаютъ судьбу человека на войнѣ; романъ «Семейное счастье» показываетъ неизбежный исходъ идеализированной любви, разрѣшившейся бракомъ; «Анна Каренина»—неумолимую Немезиду за торжество любви, поправшей всѣ человеческія обязанности. Словомъ, вездѣ авторъ слѣдитъ за судьбою отдѣльной личности, интересуется вопро-

сомъ: какъ живетъ на землѣ человѣку? и никогда не занимается социальными темами. Сомнѣніе можетъ возбудить только «Война и миръ». Историческая основа этого романа и необыкновенно широкій захватъ его часто заставляютъ видѣть въ немъ картину народныхъ движеній, заставляютъ искать его смысла, его основной идеи въ изображеніи этихъ великихъ событій, въ объясненіи того внутренняго механизма, дѣйствіемъ котораго они образовались. Совершенно соглашаясь съ тѣмъ, что романъ дѣйствительно развертывается передъ нами широкую панораму народной жизни, не отрицая и того, что въ его художественномъ изображеніи намъ не разъ представляется съ поразительною правдою реальный процессъ историческихъ событій, мы все-же склоняемся къ мнѣнію, что центръ творческаго интереса при созданіи «Войны и мира» лежалъ въ личной, а не въ исторической или общественной жизни, и что постоянною думою автора-художника былъ не вопросъ о причинахъ изображаемыхъ событій, но мысль о томъ, какъ чувствуетъ и сознаетъ себя человѣческая личность во всѣхъ тѣхъ разнообразныхъ положеніяхъ, которыя такъ или иначе связаны были съ этими событіями. Иначе нельзя объяснить того постоянного, подробнаго и тщательнаго анализа, которому неизбѣжно подвергается душевный міръ всякаго изъ дѣйствующихъ лицъ романа.

Но открывая въ творествѣ графа Л. Н. Толстого, какъ неизмѣнный мотивъ его, интересъ къ внутренней жизни человѣка, характеризуя самого авто-

ра, какъ художника-психолога, мы не можемъ не замѣтить, что произведенія его весьма во многомъ и весьма рѣзко отличаются отъ чисто-психологическихъ концепцій. Послѣднія всегда отвлеченны и самоцѣльны. Художественное осуществленіе ихъ даетъ намъ, такъ сказать, анатомо - психологическіе препараты. Наблюдая жизнь человѣческаго духа, поэтъ этого склада выдѣляетъ обыкновенно изъ сложнаго организма души какую-либо способность, страсть, или чувство, и въ изображеніи природы, силы и движенія этой страсти или чувства видитъ свою задачу. Міръ человѣческаго духа настолько увлекаетъ его своими тайнами и необъяснимою произвольностью своего содержанія, что задача раскрыть эти тайны, схватить что-либо изъ содержанія духа естественно представляется для такого реалиста-психолога самостоятельною и высшею цѣлью творчества. Возьмите типичнѣйшаго и величайшаго изъ художниковъ-психологовъ—возьмите Шекспира и посмотрите на созданные имъ образы. Что такое его Гамлетъ, Ромео, Отелло, Макбетъ, Брутъ или Антоній—что такое всѣ эти герои какъ не представители различныхъ психологическихъ возможностей, какъ не воплощеніе разсчлененныхъ художникомъ элементовъ духа въ соответствующіе человѣческіе характеры? Въ качествѣ такихъ элементовъ, въ качествѣ основаній, для своихъ характеровъ Шекспиръ бралъ всегда отдѣльныя способности человѣческой души—рефлексію, любовь къ женщинѣ, ревность, властолюбіе, нравственный стоицизмъ, жажду наслажденія—и завязывая и разрѣ-

шая свои драмы и трагедіи дѣйствиємъ той или другой изъ этихъ способностей и страстей, раскрывалъ законы ихъ возникновенія и развитія, обнаруживалъ

е и значеніе въ жизни человѣка. Не то у этого. Надъ интересомъ къ отдѣльнымъ

психической сферы у него преобладаетъ къ жизни въ ея цѣломъ, къ судьбѣ человека на землѣ. Поэтому героемъ всѣхъ еденій является человѣкъ,—человѣкъ болѣе

болѣе полный, чѣмъ тѣ психологическія, къ созданію которыхъ приходятъ художественно разрабатывающіе міръ человѣка. Поэтому въ произведеніяхъ своихъ онъ исчерпать не содержаніе этого духа, но со- жизни, не разнообразіе человѣческихъ ха-

но разнообразіе жизненныхъ положеній. вителей чисто-психологическаго интереса въ планѣ—характеры, положенія-же—только ольтатъ борьбы этихъ характеровъ, какъ обнаружить ихъ сущность и значеніе; у го главная задача—постигнуть ту своеобразную комбинацію положеній, которая составляетъ жизнь человѣка,—тотъ фатумъ, который подчиненъ теченіе всего своего суще-

Въ его созданіяхъ мы не найдемъ вполне характеровъ, не найдемъ чистыхъ психическихъ типовъ; зато ни одинъ писатель (кроме классиковъ, стремящихся раскрыть чуждую чуждую судьбу) не захватываетъ человека такъ широко, не проводитъ своихъ

героевъ черезъ столько разнообразныхъ положеній, не слѣдить за ними такъ долго и такъ упорно, какъ графъ Толстой. Дочитывая его романы и повѣсти, не испытываешь того неудовлетвореннаго чувства, которое невольно является у васъ напр. на послѣдней страницѣ произведеній Тургенева, имѣющаго обыкновеніе опускать занавѣсъ надъ неоконченною и иногда даже не опредѣлившеюся жизнью своихъ героевъ, лишь только минуетъ поэтический моментъ ея. У Толстого нѣтъ мѣста вопросу: что-же дальше? Съ окончаніемъ произведенія кончается и изображаемая имъ жизнь, или по крайней мѣрѣ доводится до состоянія той ясности и опредѣленности, которая уже не возбуждаетъ вопросовъ. Припомните его персонажи—Анну Каренину, Вронскаго, Кити, Левина, брата его Николая, Кознышева, Болконскаго, его жену, Ростова, Наташу, Пьера, героевъ «Семейнаго счастья», героевъ Севастополя и кавказскихъ походовъ; всѣ эти лица, конечно, въ высшей степени характерны и индивидуальны, но это во всякомъ случаѣ не тѣ отлитыя изъ одного металла фигуры, какими представляются намъ Отелло и Макбетъ Шекспира, или даже Идіотъ и Иванъ Карамазовъ Достоевскаго. Съ другой стороны, какъ подробно рассказана намъ судьба всѣхъ этихъ людей! Въ жизни ихъ авторъ не оставилъ ни одной тайны, не оставилъ ничего недосказаннаго. Стремясь къ изображенію правды этой жизни, онъ не боится и не избѣгаетъ никакихъ изъ ея проявленій, какъ-бы они ни были обидны и разрушительны для взлелеянныхъ

человѣкомъ идеаловъ, для тѣхъ иллюзій, съ которыми онъ не можетъ разстаться и которыми тѣшится въ своемъ стыдливомъ полунезнаніи. Драпировать жизнь, завѣшивать ея страшный и подчасъ отвратительный остовъ красивыми покровами—графъ Толстой не могъ никогда; напротивъ, ему гораздо больше улыбалась задача сорвать тѣ уборы и пестрыя тряпки, въ которыя закутало человѣчество свою жизнь, и показать ее во всей ея наготѣ и правдѣ. Въ этомъ смыслѣ его не безъ основанія называютъ пессимистомъ и отрицателемъ. «Не обманывать себя чело-вѣку—не жить ему на землѣ», сказалъ гдѣ-то Тургеневъ, этотъ великій мастеръ въ изображеніи тѣхъ очарованій и иллюзій, которыми красна наша бѣдная жизнь. Другой поэтъ о томъ-же предметѣ выразился еще сильнѣе въ извѣстномъ стихотворномъ афоризмѣ: «Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже насъ возвышающій обманъ». И вотъ эти-то «возвышающіе обманы» беспощадно разоблачаетъ въ своихъ произведеніяхъ графъ Толстой.

Смѣлыми и необыкновенно-правдивыми картинами человѣческихъ битвъ и сраженій онъ разсѣваетъ тотъ сотканный изъ славы и доблести ореолъ величія, которымъ, точно какимъ-то таинственнымъ нимбомъ, была окружена въ глазахъ всѣхъ народовъ война. Въ исторіи Наташи («Война и Миръ») и Кити («Анна Каренина») разрушаетъ онъ иллюзію красоты и поэтической прелести дѣвственнаго образа, погружая каждую изъ нихъ въ прозу семейной жизни съ неизбѣжными заботами объ обѣдѣ, о купаніи и целе-

наніи дѣтей и т. п. Въ трагической кончинѣ Анны Карениной разлетается иллюзія вѣчной страсти. Въ «Семейномъ счастьи» постепенно блекнетъ и отцвѣтаетъ поэзія супружеской любви. Въ образѣ Кознышева подвергается сомнѣнію источникъ общественныхъ стремленій человѣка. Въ «Холстомъбрѣ» съ неподражаемою художественностью, правдою и послѣдовательностью проведена зоологическая точка зрѣнія на человѣка, подкапывающаяся подъ великій обманъ его исключительнаго достоинства и призванія на землѣ.

Оставимъ, однако, пока въ сторонѣ пессимизмъ гр. Толстого и возвратимся къ указанной выше отличительной чертѣ его творчества—интересу къ судьбѣ, къ долѣ человѣка. Въ связи съ этою чертою стоятъ еще двѣ выдающіяся особенности творческой манеры Толстого: это, во-первыхъ, замѣчательная объективность или безстрастная ясность его изображеній, и во-вторыхъ — реалистическій характеръ его творчества.

Что касается первой изъ этихъ особенностей, то она свойственна произведеніямъ графа Толстого въ высшей степени, въ той степени, которую превосходитъ изъ всѣхъ поэтовъ развѣ одинъ Гете, да и то лишь въ немногихъ своихъ созданіяхъ. Впрочемъ, это сравненіе съ Гете нельзя назвать вполне подходящимъ: оно немедленно требуетъ оговорки. Если графъ Толстой въ своемъ творствѣ и не поднимался никогда до олимпійскихъ высотъ спокойствія и выдержанности формы, на которыхъ подолгу си-

живалъ Гете, то все-же его нельзя поставить — съ точки зрѣнія объективности творчества — ступенью ниже нѣмецкаго поэта, нельзя потому, что сферы ихъ творчества различны, объекты ихъ созерцанія разнородны. Произведенія Гете, отличающіяся наибольшимъ спокойствіемъ, пластичностью и объективностью—напр. его «Германъ и Доротея» — строго выдержаны въ классически-эпическомъ родѣ, въ которомъ замѣтны развѣ лишь слабые намеки на психологическій анализъ, тогда какъ у нашего романиста этотъ анализъ является едвали не главнѣйшимъ приѣмомъ творчества. И несмотря на это, онъ постоянно сохраняетъ объективность и остается ей вѣренъ въ самыхъ трудныхъ задачахъ анализа. Подчасъ эта объективность его переходитъ во что-то нечеловѣческое. Когда вы читаете что-нибудь изъ произведеній Толстого, вы получаете часто такое впечатлѣніе, какъ будто изображаемая имъ жизнь наблюдалась не съ земли, не живущимъ на ней человѣкомъ; вамъ начинаетъ казаться, что это какой-то созерцающій духъ, свободный отъ всѣхъ условностей земной жизни, чуждый ея интересамъ и страстямъ, слетѣлъ къ вамъ изъ холодныхъ пространствъ эфира и рассказываетъ о томъ, что онъ видѣлъ на землѣ изъ своей голубой дали. Онъ рассказываетъ о человѣкѣ, какъ о какомъ-то существѣ въ мірозданіи, рассказываетъ о дѣйствіяхъ, привычкахъ, отношеніяхъ этого существа, рассказываетъ съ изумительною правдою и глубокимъ пониманіемъ. Мало того, онъ раскрываетъ вамъ душу этого человѣка, показываетъ тон-

чайшую работу его мысли, сокровеннѣйшія движенія его чувствъ, порывы его страстей, какъ будто и на это на все онъ смотрѣлъ съ своей высоты и въ какой-то чудесный телескопъ видѣлъ каждую мысль подъ черепомъ человѣка, каждое чувство въ его сердцѣ. Несмотря на подробность и глубину этого психологическаго анализа, онъ все-таки производитъ впечатлѣніе наблюденія надъ объектомъ, впечатлѣніе какого-то изумительнаго постиженія посторонняго предмета; не то, что анализъ Достоевскаго, который такъ и дышетъ личнымъ знаніемъ всего изображаемаго. Поэтому намъ кажется, что выраженіе, употребленное когда-то г. Евг. Марковымъ, будто Л. Толстой весь сидитъ въ душѣ человѣка, не совсѣмъ соотвѣтствуетъ характеру его творчества и больше было-бы примѣнимо къ манерѣ субъективныхъ художниковъ, въ родѣ, напримѣръ, Достоевскаго.

Объективизмъ графа Толстого двойными отношеніями связанъ съ присущимъ ему интересомъ къ человѣческой личности. Прежде всего онъ дорисовываетъ характеръ этого интереса, окончательно выясняетъ намъ его содержаніе. Понявъ творческую манеру Толстого, мы уже не можемъ не видѣть, что центръ тяжести его художническихъ интересовъ покоится въ жизни человѣка, взятой какъ фактъ природы, какъ извѣстное явленіе міра. Это не тѣ интересы, которые держатъ художника внутри человѣческой личности, заставляя его уходить отъ внѣшней правды жизни все въ новыя и новыя глубины духа; еще менѣе—это интересы соціальныхъ писа-

телей, стремящихся провести въ жизнь условныя и страстныя квалификаціи своего времени. Это позиція наблюдателя, ищущаго неизмѣннаго, существеннаго въ жизни, ищущаго постигнуть ея вѣчную правду. Поэтому вниманіе его всего больше привлекаютъ такіе неизбѣжныя, общіе факты жизни, какъ смерть, рожденіе, бракъ, любовь, вѣра, сомнѣніе и т. д. Высшимъ выраженіемъ художественнаго объективизма графа Толстого и лучшимъ объясненіемъ его созерцательныхъ интересовъ могутъ служить тѣ параллели, къ которымъ онъ такъ любилъ прибѣгать и которыми умѣлъ говорить такъ много. Вспомнимъ, на примѣръ, «Три смерти», гдѣ авторъ рядомъ со смертью человѣка показываетъ намъ, какъ такую-же утрату и печаль природы, смерть дерева; или — повѣсть «Казакъ», гдѣ въ одной картинѣ, мы видимъ и ястреба, высматривающаго съ высокаго дерева свою добычу, и казаковъ, подкарауливающихъ враждебныхъ чеченцевъ; вспомнимъ, наконецъ, «Холстомера», гдѣ съ изумительною проницательностью и нечеловѣческой почти широтою какого-то пантеистическаго чувства намъ рассказаны исторіи двухъ существъ на землѣ — лошади и ея бывшаго хозяина, князя Серпуховскаго.

Но, несмотря на весь его объективизмъ, творчество гр. Толстого не теряется въ безразличномъ изображеніи явленій міра. Оно постоянно руководится и направляется глубокимъ интересомъ къ человѣку, что и составляетъ вторую связь этого интереса съ объективнымъ отношеніемъ Толстого къ изображен-

ному предмету. Интересъ этотъ какъ-бы привязываетъ творчество гр. Толстого къ человѣку и въ то же время какъ-бы согрѣваетъ его своимъ присутствіемъ. Отъ произведеній нашего художника не вѣетъ холодомъ индифферентизма: напротивъ, вы чувствуете всегда разлитые въ нихъ лучи горячаго участія и вниманія ко всему человѣческому. Всѣ глубочайшіе вопросы, которые поднимаетъ авторъ въ своихъ произведеніяхъ, вызваны именно этимъ вниманіемъ, этимъ значеніемъ для него всего доступнаго человѣку.

Чтобы понять, въ какомъ отношеніи къ основному мотиву творчества гр. Толстого стоитъ вторая изъ указанныхъ нами особенностей его произведеній, ихъ реализмъ, достаточно только взглянуть на нихъ съ этой стороны. Въ произведеніяхъ своихъ графъ Толстой преслѣдуетъ не только психологическую правду, для которой безразлична случайная правда внѣшней жизни и при изображеніи которой можно перенести дѣйствіе и въ надзвѣздныя сферы, и въ подземныя бездны ада, и въ прошлое, и въ будущее. Онъ—не абстрактный художникъ, но реалистъ въ полномъ смыслѣ слова: онъ не грѣшитъ противъ правды дѣйствительной жизни ни фавулою своихъ произведеній, ни типами изображаемыхъ людей, ни обстановкою, среди которой развивается у него дѣйствіе. Онъ рисуетъ всегда земную жизнь человѣка съ ея установившимся складомъ, съ ея необходимымъ содержаніемъ. Онъ глубоко проникся духомъ этой жизни, понялъ тѣ силы, на которыхъ она построена,

схватилъ тѣ формы, въ которыя она отливается, и въ созданіяхъ своихъ какъ-бы непосредственно даетъ намъ самую эту жизнь, или по крайней мѣрѣ ея

ощущія части: такую свѣжую, такую сильную дышать эти созданія. Читая ихъ, не-ажаяешься богатствомъ творческой способности, въ которой есть что-то, напоминающее природу. Какъ въ ея атмосферѣ, кажется, рветъ какая-то сила и изъ каждого сѣмени, изъ каждой

пылинки выводитъ громадныя пальмы, сапоротники, переплетаетъ ихъ лианами, растеніями-паразитами и чудовищными

изъ всей этой роскоши растительныхъ даетъ свои дѣйственные лѣса, такъ и въ

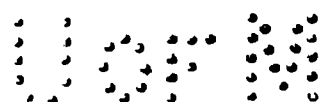
произведеній Толстого изъ каждой строки рождается художественный образъ, въ каждой фразѣ свѣтится мысль, а иногда и гдѣ глубокая истина. Подчиняясь извѣстному художественному плану, вся эта масса распределяется въ опредѣленной перспективѣ представляетъ грандіозную картину человѣч-
вни.

учи настоящимъ реалистомъ, графъ Тол-да не спускался до простого копированія ности, никогда не переходилъ той черты, тось типическое и начиналось царство слу-

того: сфера типическаго не имѣла для нія сама по себѣ. Онъ черпалъ изъ нея олько, насколько находилъ въ ней харак-

тернаго для жизни личности. Безцѣльное творчество, творчество ради одной возможности созданія или такъ-называемое искусство для искусства не въ его натурѣ. Онъ никогда не увлекался ни психологическою, ни соціальною морфологіею. Но такимъ именно и должно быть творчество художника, несущаго, какъ свой девизъ, вопросъ: «чѣмъ люди живы?»

Итакъ, какое-же отношеніе существуетъ между художественными и философскими произведеніями графа Толстого? Мы полагаемъ, что послѣ приведенныхъ характеристикъ графа въ качествѣ философа и художника, отвѣтъ на этотъ вопросъ не представится труднымъ. Если, ссылаясь на объективизмъ произведеній нашего знаменитаго романиста, говорить иногда, что его личность до появленія философскихъ его сочиненій была совершенно для насъ неизвѣстна, то это происходило обыкновенно отъ того, что читатели, войдя въ міръ созданій Толстого и не находя тамъ словъ прямо отъ его лица, увлекались тѣмъ или другимъ предметомъ этого міра и забывали его творца; если-же мы взглянемъ на этотъ міръ со стороны, какъ на нѣчто цѣлое, то увидимъ, что весь онъ произведенъ живущимъ въ душѣ художника интересомъ къ человѣческой личности, интересомъ къ тому, чѣмъ живетъ эта личность, чѣмъ удовлетворяется и отъ чего страдаетъ. А отъ этого—все-же еще объективнаго отношенія къ человѣку — всего одинъ шагъ до того субъективнаго вопроса о цѣли жизни, изъ котораго выросло все философское ученіе графа, и если мы ближе присмотримся къ его



естественнымъ произведеніямъ, то окажется, что этотъ былъ сдѣланъ имъ еще въ качествѣ кулака. Уже одно неутомимое исканіе отвѣта на съ: чѣмъ люди живы? — исканіе, заставившее Толстого останавливаться передъ каждою радю и приманкою жизни, пока смыслъ и значекъ не были имъ постигнуты, заставившее его катъ въ самые потаенные уголки человѣческой, исканіе, окончившееся поголовнымъ почти разніемъ идеаловъ и разжалованіемъ человѣка въ-то букашку въ мірозданіи — уже одно такое іе могло служить несомнѣннымъ признакомъ й заинтересованности автора въ этомъ вопросѣ. мимо этого, мы имѣемъ и болѣе положитель- доказательства того, что вопросъ о смыслѣ і издавна занималъ нашего художника. Уже въ зтвѣ, отрочествѣ и юности» маленькій Николай ѣвъ, въ жизни котораго какъ-то невольно чув- пь много чертъ автобіографическаго значенія, нъ задавался этими-же вопросами, а это было момъ началъ литературной дѣятельности графа.

настойчиво и опредѣленно ставится тотъ-же съ въ лицѣ Андрея Болконскаго и въ особен- Пьера Безухова въ «Войнѣ и мирѣ», гдѣ во- , этотъ изъ характерной для героя черты доро- ь уже до значенія самостоятельнаго художе- наго мотива. Наконецъ, въ «Аняѣ Карениной» гь—уже какъ-бы прямой предтеча самого графа ого въ его роли философа и моралиста. Левинъ лько носить въ себѣ этотъ-же вопросъ о смыслѣ



человѣческой жизни, не только терзается имъ, но приблизительно и рѣшаетъ его такъ-же, какъ и Толстой. Слѣдовательно, никакого разрыва между прошлымъ и настоящимъ нашего великаго художника не произошло, бездна не раздѣляетъ эти два періода его жизни, связанные естественнымъ процессомъ внутренняго развитія, и если онъ говоритъ теперь другимъ языкомъ, чѣмъ прежде, то думаетъ онъ все ту-же давнишнюю, старую думу.

Графъ Л. Н. Толстой, какъ мы уже сказали, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ представителемъ чистаго искусства: жизнь не интересуется его непосредственно, какъ возможный объектъ творчества, какъ форма, способная подняться до чистоты и законченности художественнаго идеала. Съ напряженнымъ вниманіемъ всматривается онъ въ перспективу открывающейся передъ нимъ жизни, но лишь затѣмъ, чтобы опредѣлить значеніе для человѣческой личности виднѣющихся въ этой перспективѣ жизненныхъ возможностей. Онъ неотступно ищетъ того, чѣмъ можно жить человѣку, что можетъ удовлетворить присущія ему стремленія, того, что своею силою и красотою утоляло-бы всѣ жажды, покоряло-бы всѣ сердца, того, что можно бы показать людямъ какъ благо, въ которомъ открывается смыслъ жизни и ради котораго стоило-бы жить. На поиски этого блага нашъ художникъ выходитъ не съ вѣрою въ жизнь, но, напротивъ, съ великимъ сомнѣніемъ. Онъ не поддается обаянію cadaго радостнаго впечатлѣнія, не увлекается имъ, не поэтизируетъ его. Онъ не хо-

четь быть обманутымъ, какъ-бы ни были плѣнительны моменты заблужденій; онъ ищетъ правды, полной правды человѣческой жизни, какъ-бы она ни была сурова, бѣдна или ужасна. Пристально слѣдитъ онъ за человѣкомъ во всѣхъ положеніяхъ его жизни, гениальнымъ воображеніемъ художника вскрываетъ его душу, разбираетъ и анатомируетъ ее, пока не выступаетъ передъ нимъ вся правда этой души во всѣхъ ея радостяхъ и наслажденіяхъ, тревогахъ и печаляхъ, пока не обнаруживается та ложь, которую неисправимый идеалистъ-человѣкъ повсюду примѣшалъ къ дѣйствительности. Много различныхъ положеній перебралъ графъ Толстой въ своихъ произведеніяхъ. Но чѣмъ-же въ концѣ концовъ явилась ему раскрытая правда жизни? Нашелъ-ли онъ въ ней несомнѣнныя блага, нашелъ-ли идеаль, способный удовлетворить человѣка, или безпощаднымъ отрицателемъ прошелъ по всей жизни, опустошая ея счастье и радости, какъ своего рода «бичъ Божій»?

Вотъ вопросъ, за разрѣшеніемъ котораго мы обратимся къ произведеніямъ графа Толстого. Вопросъ этотъ не вмѣщаетъ въ себѣ, конечно, полной ихъ критики, но на такую критику мы и не претендуемъ уже въ силу размѣра настоящихъ этюдовъ. Мы ограничиваемся именно указаннымъ вопросомъ потому, что, пройдя съ нимъ по всѣмъ произведеніямъ гр. Толстого, мы окончательно дорисуемъ личность автора въ его отношеніяхъ къ жизни, въ его міросозерцаніи, а это въ художественной критикѣ едва-ли не самое важное.



Въ двѣнадцати томахъ послѣдняго, недавно вышедшаго (1886 г.) изданія сочиненій гр. Л. Н. Толстого собраны, кажется, всѣ когда-либо печатавшіяся художественныя его произведенія. Есть, кромѣ того, и кое-что новое. Въ этихъ двѣнадцати книгахъ сжаты цѣлый міръ творческой фантазіи, идей, художественныхъ образовъ и откровеній. Войдемъ-же въ этотъ міръ и посмотримъ, что именно возсоздалъ графъ Толстой изъ человѣческой жизни и въ какомъ озареніи представляетъ онъ намъ различныя ея явленія. Свой обзоръ мы будемъ совершать приблизительно въ томъ-же порядкѣ, въ какомъ слѣдуютъ одно за другимъ произведенія гр. Толстого въ вышеупомянутомъ ихъ изданіи, оставляя, впрочемъ, за собою право нарушать этотъ порядокъ всякій разъ, какъ только это покажется намъ нужнымъ или удобнымъ.

III.

„Дѣтство, отрочество, юность.“

«Дѣтство, отрочество и юность» — если первое произведение графа Толстого, то во всякомъ случаѣ одно изъ первыхъ. Писалась она вѣроятно въ промежуткѣ между пяти лѣтъ, отъ 1852 до 1857 года, съ перерывами, въпрочемъ, перерывами, такъ какъ этого-же времени начинающимъ тогда художникомъ Толстымъ были написаны и нѣкоторыя другія изъ его произведеній. Повѣсть эта, рассказанная отъ лица героя, изображаетъ жизнь русскаго человека въ кругу семьи, начиная отъ первыхъ воспоминаній о дѣтствѣ и кончая его юношескимъ возмужаньемъ. По нѣкоторымъ словамъ автора, какъ-то сорвавшимся у него въ повѣсти, можно было бы предположить, что у него былъ грандіозный планъ — прожить жизнь человека до самой могилы, описать ее, какъ описалъ онъ дѣтство, отрочество и юность. Такъ, въ одномъ мѣстѣ онъ пишетъ: «Я думаю, что ежели мнѣ суждено прожить

до глубокой старости, и рассказ мой догонить мой возраст» и т. д. (I, стр. 240). Если наше предположеніе вѣрно, то можно отъ души пожалѣть, что графъ Толстой не выполнилъ этого плана. Вышедшая изъ подъ его пера книга человѣческой жизни, судя по началу ея, могла-бы быть смѣлымъ и поучительнымъ раскрытіемъ правды этой жизни, особенно интереснымъ потому, что уже по самой задачѣ она должна бы представить всю эту правду, все содержаніе жизни отъ первыхъ проблесковъ сознанія и до потери его въ наступающемъ безсиліи смерти и вслѣдствіе этого должна-бы полно и законченно выразить воззрѣніе художника на жизнь.

Возвращаясь отъ этихъ несбывшихся возможностей къ дѣйствительности, мы прежде всего встрѣчаемся съ вопросомъ объ основной идеѣ или замыслѣ разсматриваемой повѣсти. Богатый бытоописательный матеріалъ, заключающійся въ ней, а еще болѣе господствовавшія одно время въ нашей литературѣ обличительныя стремленія, заставили нѣкоторыхъ критиковъ видѣть центръ тяжести всей повѣсти въ изображеніи помѣщичьяго быта крѣпостной Россіи. Самый выборъ сюжета объяснялся желаніемъ показать тѣ условія, подъ вліяніемъ которыхъ неизбежно приходилось расти и развиваться въ извѣстный характеръ всякому ребенку привилегированнаго класса нашего общества. Съ своей стороны мы охотно признаемъ, что всякій желающій дѣйствительно найдетъ въ повѣсти графа Толстого много характерныхъ чертъ изображаемаго времени и извѣстной обществен-

ной среды, что многія лица повѣсти, какъ, напри-
мѣръ, отецъ Николая Иртеньева, его бабушка, нѣ-
мецъ-учитель—всѣмъ извѣстный Карлъ Ивановичъ,—
нѣсколькими штрихами схваченная Наталья Савиш-
на, Дубковъ, князь Нехлюдовъ, имѣютъ несомнѣнное
значеніе типовъ, принадлежащихъ опредѣленному
времени; но, несмотря на это, намъ кажется, что
графъ Толстой писалъ свою повѣсть, подчиняясь
иному творческому мотиву, что передъ нимъ стояла
задача показать формирующуюся душу человѣка не
въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ общественно-
историческихъ условій, но въ зависимости отъ при-
сущихъ ей законовъ развитія; что онъ хотѣлъ пред-
ставить постепенное измѣненіе жизни, какъ послѣд-
ствіе неизбежныхъ метаморфозъ души. Какъ реал-
истъ, онъ воплотилъ свою идею въ формы дѣйстви-
тельной жизни тогдашней (т. е. до-реформенной) Рос-
сіи; какъ художникъ, онъ создалъ образы, испол-
ненные правды и силы, образы, естественно подни-
мающіеся до значенія типовъ,—но все это только
необходимый для выраженія идеи матеріалъ, только
канва, по которой художникъ вышиваетъ узоры вну-
тренней жизни человѣка. За такое предположеніе го-
ворить прежде всего избранная авторомъ форма по-
вѣсти. Форма эта, какъ извѣстно, автобіографиче-
ская. Для объективнаго изображенія быта эта форма
самая неудобная, такъ какъ она ставитъ всегда
между изображеніемъ и читателемъ личность раз-
казчика и заставляетъ постоянно считаться съ его
характеромъ (если только рассказчикъ не безличное

и безхарактерное я, чего нельзя, конечно, сказать про Николая Иртеньева).

Если же художникъ на первый планъ выдвигаетъ интересъ къ внутренней жизни человѣка, если его задача заключается въ изображеніи того или другого психическаго состоянія, то автобіографическая форма произведенія, напротивъ, является весьма цѣлесообразною, такъ какъ позволяетъ весь рассказъ обратить въ характеристику героя-рассказчика. И графъ Толстой съ замѣчательнымъ искусствомъ воспользовался удобствами избранной имъ формы. Вчитайтесь въ языкъ, вслушайтесь въ тонъ, всмотритесь въ манеру рассказа въ отдѣльныхъ частяхъ повѣсти, соотвѣтствующихъ дѣтству, отрочеству и юности, и вы увидите, что въ первой—рассказъ этотъ дышетъ свѣжестью и наивною поэзіею дѣтскихъ впечатлѣній; во второй—вы уже чувствуете первыя вспышки еще несознанныхъ страстей и понятій, вносящихъ пока только какую-то смутную тревогу въ спокойный дотолѣ міръ дѣтской души; въ третьей—вы слышите рассказъ юноши, постоянно увлекающагося какой-нибудь идеею, постоянно стремящагося осуществить въ своемъ лицѣ того или другого героя и больше всего боящагося простоты и естественности жизни. Но не одна только форма повѣсти подтверждаетъ высказанную нами мысль объ ея основной задачѣ; къ тому-же заключенію приводитъ и содержаніе ея, значительную долю котораго составляетъ никогда непокидаемый графомъ Толстымъ психологическій анализъ, направленный въ разбираемомъ произведеніи

на раскрытіе тѣхъ своеобразныхъ и забытыхъ уже нами душевныхъ состояній, которыми мы жили въ дѣтствѣ и юности.

Фабула повѣсти проста въ высшей степени. Можно даже сказать, что она вовсе отсутствуетъ, такъ какъ дѣйствіе повѣсти движется не сцѣпленіемъ какихъ-либо внѣшнихъ событій и обстоятельствъ, но естественнымъ процессомъ роста ея героя. Поэтому и мы не будемъ слѣдить за ходомъ ея событій, а обратимся прямо къ тому достоинству, которое имѣетъ въ глазахъ автора каждый изъ описанныхъ имъ возрастовъ. — Самымъ гармоническимъ возрастомъ, самою счастливою порою въ изображеніи нашего художника является дѣтство. Въ душѣ ребенка не возникъ еще мучительный разладъ внутреннихъ противорѣчій, для него не настало еще время неизбѣжныхъ сомнѣній въ каждой привязанности, въ каждомъ чувствѣ; онъ радуется беззаботными и чистыми радостями, онъ любитъ полно и цѣльно, онъ жадно ловить еще новыя для него впечатлѣнія жизни. Все интересно для маленькаго Николеньки Иртеньева: и Карлъ Ивановичъ, котораго онъ уже умѣетъ любить, какъ сироту, какъ одинокаго человѣка; и папа, въ которомъ является ему безупречный образъ того, чѣмъ долженъ быть мужчина, и о возможности осужденія котораго ему не приходило въ голову еще ни одной мысли; и юродивый Гриша съ своими веригами и молитвами; и охота, и лошади, которыхъ онъ зналъ въ подробности. Но на вершинѣ всѣхъ воспоминаній дѣтства, на недосыгаемой высотѣ красоты

и поэзіи стоитъ для него образъ матери. Въ образѣ этомъ графъ Толстой представилъ ту русскую женщину нашего обеспеченнаго дворянства — чистую, нѣжную, строгую къ самой себѣ, безгранично любящую и прощающую, — которая какимъ-то чудомъ явилась въ нашей жизни среди господствующей грубости и распущенности и которая въ наше болѣе «просвѣщенное» время готова, кажется, отойти въ область преданія. Этотъ образъ матери замѣчателенъ еще и тѣмъ, что во всемъ творествѣ графа Толстого это едва-ли не единственная личность съ идеальнымъ характеромъ. Художникъ пощадилъ ее отъ разлагающаго дѣйствія своего анализа и, создавъ ее нѣсколькими легкими штрихами, окружилъ тѣмъ поэтическимъ сіяніемъ, которое такъ идетъ къ воспоминаніямъ сына, еще въ дѣтствѣ потерявшаго свою любимую мать.

Сравнивая свое настоящее съ давно пережитою порою дѣтства, авторъ пишетъ: «Вернутся-ли когда-нибудь та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели — невинная веселость и безпредѣльная потребность любви — были единственными побужденіями въ жизни? Гдѣ тѣ горячія молитвы? Гдѣ лучшій даръ — тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и напѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію. Неужели жизнь оставила такіе тяжелые слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли

отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминанія?»

Строки эти производятъ впечатлѣніе какой-то сознанный человѣкомъ утраты. Было что-то большое и прекрасное, мелькнуло въ дѣтствѣ и затѣмъ исчезло навсегда, оставивъ въ душѣ только воспоминаніе о какомъ-то блаженствѣ, о какомъ-то эдемѣ, изъ котораго изгнали тебя проснувшіяся страсти да развившійся разумъ.

Этотъ-то процессъ развитія и изображаетъ авторъ далѣе, описывая отрочество и юность,—изображаетъ съ присущею ему смѣлостью и правдою. «Случалось ли вамъ, читатель, въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ на вещи совершенно измѣняется, какъ-будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстною еще стороною? Такого рода моральная перемѣна произошла во мнѣ въ первый разъ во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества. Мнѣ въ первый разъ пришла мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего неимѣющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже неимѣющихъ понятія о нашемъ существованіи».

Вскорѣ съ душею маленькаго героя произошла еще одна перемѣна: онъ началъ постигать какое-то особенное значеніе женщины. Началомъ этого откровенія послужила слѣдующая сцена. Однажды, стоя

на лѣстницѣ, онъ услышалъ голосъ Маши (молодой горничной): «Ну васъ, что вы балуетесь! А какъ Марья Ивановна придетъ—развѣ хорошо будетъ?»— Не придетъ, шепотомъ сказалъ голосъ Володи (старшій братъ Николая), и вслѣдъ за этимъ что-то зашевелилось, какъ будто Володя хотѣлъ удержать ее. «Ну, куда руки суете? Безстыдникъ!» И Маша со сдернутой на бокъ косынкой, изъ подъ которой виднѣлась бѣлая, полная шея, пробѣжала мимо меня.

«Не могу выразить, до какой степени меня изумило это открытіе; однако, чувство изумленія скоро уступило мѣсто сочувствію поступку Володи: меня уже не удивлялъ самый его поступокъ, но то, какимъ образомъ онъ постигъ, что пріятно такъ поступать. И мнѣ невольно захотѣлось подражать ему».

Познакомился нашъ герой и съ чувствомъ ненависти (онъ ненавидѣлъ своего учителя—Жерома), и съ чувствомъ одиночества. Началась въ немъ и разрушительная работа мысли, словно на зло человѣку направляющаяся прежде всего на то, что для него наиболѣе дорого. «Я люблю отца, рассказываетъ Иртенъевъ, но умъ человѣка живетъ независимо отъ сердца и часто вмѣщаетъ въ себя мысли, оскорбляющія чувство, непонятныя и жестокія для него. И такія мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить ихъ, приходятъ мнѣ».

Наконецъ, подростающей мысли нашего героя стали доступны и отвлеченные вопросы, и онъ сильно увлекался ими. «Дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы,

е которыхъ составляетъ высшую ступень, можетъ достигать умъ человѣка, но раз-
торыхъ не дано ему». То ему приходила
счастье наше зависитъ отъ насъ самихъ
вѣкъ, привыкшія переносить страданія,
быть несчастливъ;—и вотъ, чтобы при-
къ этимъ страданіямъ, онъ уходилъ въ
какъ маленькій факиръ, стегалъ себя ве-
голой спинѣ такъ больно, что слезы не-
ступали на глазахъ; то вспоминалось ему.
мечасно ожидаетъ смерть и что поэтому
отиться о будущемъ, а нужно только поль-
астоящимъ,—и онъ подъ вліяніемъ этой
зилъ уроки и три дня «занимался только
лежа на постели, наслаждался чтеніемъ
удъ романа и ѣдою пряниковъ съ кронов-
домъ, которые покупалъ на послѣднія
увлекался онъ скептицизмомъ и думалъ,
него никого и ничего не существуетъ во
. «Были минуты, что я, пишетъ онъ, подъ
этой постоянной идеи, доходилъ до такой
масбродства, что иногда быстро огляды-
противоположную сторону, надѣясь врас-
чать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не

въ здѣсь интереснѣе всего тотъ общій вы-
рый дѣлаетъ авторъ о значеніи ума въ
ювѣческаго счастья. «Жалкая ничтожная,
оральной дѣятельности, — умъ человѣка!»
я. «Слабый умъ мой не могъ проникнуть

непроницаемаго, а въ непосильномъ трудѣ терялъ одно за другимъ убѣжденія, которыя, для счастья моей жизни, я никогда-бы не долженъ былъ смѣть затрогивать. Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабившей во мнѣ силу воли, и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтожившей свѣжесть чувства и ясность разсудка».

И такъ—вотъ жребій человѣка! Выше и выше поднимаясь по ступенямъ духовнаго развитія, полнѣе и полнѣе освобождая свое сознаніе отъ господства страстей и привычекъ, человѣкъ въ то-же время дальше и дальше отходитъ отъ своего счастья. Для счастья нужна какая-либо святыня, какая-либо завѣтная область, нужно что-либо безусловно прекрасное и обязательное, а развившаяся и свободная мысль человѣка не знаетъ для себя преградъ, все дѣлаетъ предметомъ своего анализа, въ силу природы вещей всюду находить пятна и тѣни, въ самой прекрасной дѣйствительности видитъ лишь слабое подобіе идеальнаго и, облетая жизнь человѣка, отнимаетъ у него одно за другимъ условія его счастья. Мысль эта, впрочемъ, не новая: еще Шекспиръ подмѣтилъ этотъ фатумъ, тяготѣющій надъ человѣческимъ духомъ, и далъ ему вѣчное выраженіе въ Гамлетѣ. Характерно только, что и графъ Толстой находитъ нужнымъ высказать эту-же мысль.

Юность, по словамъ графа Толстого, начинается съ того времени, когда благородныя мысли и стремленія къ нравственному усовершенствованію, нравив-

жде только уму, становятся доступными и находятъ для себя живой органъ въ іся уже моральной природѣ недавняго рещность новаго настроенія нашего героя е выражается въ слѣдующемъ искреннемъ ь порывѣ: «Какъ могъ я не понимать этого га, счастье и добродѣтель легки и возможны какъ дурень я былъ прежде, какъ я могъ- быть хорошъ и счастливъ въ будущемъ!» онъ самъ себѣ:—«надо скорѣй, скорѣй, сію / сдѣлаться другимъ человѣкомъ и начать е». Всякій, у кого была юность не съ лько разгуломъ физическихъ силъ, но и съ ымъ содержаніемъ, вспомнить, что именно говорилъ онъ себѣ, что эти-же образы кра- тья и добродѣтели манили его въ будущее ихъ онъ не понималъ и не хотѣлъ жизни. цемъ... А кто изъ насъ осуществилъ въ ни эту красоту и счастье? Есть-ли между : такіе, у кого-бы сохранилась вѣра въ эти е идеалы, у кого-бы потребность красоты тась стремленіемъ къ комфорту, жажда исканіемъ пріятныхъ ощущеній, желаніе ии—необходимостью всепризнанной мора- ь-же свершается это паденіе жизни — не жизни, которая всегда одинакова, а нашего го міра, нашей души?—Обратимся къ по- посмортимъ, что вышло изъ стремленія теньева «сдѣлаться другимъ человѣкомъ». еніе это выливается у Иртеньева въ цѣ-

юмъ рядѣ мечтаній. Такъ, передъ исповѣдью онъ мечталъ, что очистится отъ всѣхъ грѣховъ и больше не будетъ совершать поступковъ, которые его теперь мучать; мечталъ о томъ, что каждое воскресенье будетъ ходить въ церковь, что изъ своихъ денегъ будетъ помогать бѣднымъ, что самъ будетъ прибирать свою комнату, чтобы не затруднять человека; мечталъ онъ и о томъ, какъ сдѣлается первымъ ученымъ въ Европѣ; мечталъ о томъ, какъ будетъ ходить гулять на Воробьевы горы и встрѣтить тамъ ее. О ней, о воображаемой женщинѣ (которая была для него немножко Соничка, немножко Маша, жена лакея, въ то время, когда она моетъ бѣлье въ корытѣ, и немножко женщина съ жемчугами на бѣлой шеѣ, которую онъ видѣлъ въ театрѣ), мечтаетъ онъ очень много; мечтаетъ онъ и о славѣ, о томъ, какъ люди будутъ знать и любить его,—и Богъ только знаетъ, о чемъ онъ не мечталъ тогда. Мечтанія эти не остаются безъ вліянія на его жизнь: такъ, вспомнивъ «одинъ стыдный грѣхъ», который онъ утаилъ на исповѣди, онъ рѣшается ѣхать въ монастырь и исповѣдаться вторично. Эпизодъ этой поѣздки въ художественномъ отноженіи истинный шедевръ: графъ Толстой передаетъ его съ легкимъ оттѣнкомъ юмора, не мѣшающимъ ему отмѣтить и искреннее умиленіе юноши въ моментъ исповѣди, и въ то-же время позволяющимъ указать и то тщеславное чувство, которое заставляетъ молодого ревнителя своей нравственной чистоты рассказать извозчику о цѣли своей поѣздки въ монастырь.

Сдавъ послѣдній экзаменъ въ университетъ, герой нашъ, чтобы походить на большого, ѣдетъ по магазинамъ и тратитъ всѣ свои деньги на покупку совершенно ненужныхъ ему вещей; покупаетъ онъ также себѣ и табакъ, такъ какъ ему, какъ студенту, нужно курить. Пріѣхавъ домой, онъ пробуетъ курить, но съ непривычки у него закружилась голова, ему сдѣлалось тошно и онъ, лежа на диванѣ, грустно думалъ съ разочарованіемъ: «вѣрно я еще не совсѣмъ большой, если не могу курить, какъ другіе, и что видно мнѣ не судьба, какъ другимъ, держать чубукъ между среднимъ и безымяннымъ пальцемъ, затягиваться и пускать дымъ черезъ русые усы».

Дальше авторъ рассказываетъ намъ, какъ стремящійся къ красотѣ и правдѣ юноша выдумалъ себѣ любовь. «Мнѣ давно уже было совѣстно, глядя на всѣхъ своихъ влюбленныхъ пріятелей, за то, что я отсталъ отъ нихъ», говоритъ откровенный и правдивый рассказчикъ. И вотъ, увидѣвшись съ одною барышней, Соничкой, которую онъ зналъ еще въ дѣтствѣ, онъ рѣшилъ въ тотъ-же мигъ, что влюбленъ въ нее. Объ этомъ чувствѣ онъ рассказалъ своему другу Дмитрію Нехлюдову; по пріѣздѣ-же въ деревню, на каникулы, онъ, подражая влюбленнымъ, цѣлые два дня ходилъ передъ своими домашними грустнымъ и задумчивымъ; на третій день однако притворства уже не хватило и онъ совсѣмъ забылъ о своей любви.

Затѣмъ графъ Толстой раскрываетъ въ своемъ героѣ столь свойственное юношамъ тщеславное же-



ланіе выказать себя другимъ человѣкомъ, чѣмъ есть, желаніе, заводившее студента Иртеньева въ дебри самой отчаянной лжи, заставлявшее его рисоваться фразами, мысли которыхъ онъ вовсе не сочувствовалъ, или напускать на себя несвойственные и чуждыя ему настроенія.

Но показывая всю ложь и фальшь, которыми полна дѣйствительность юности, графъ Толстой не забываетъ и того прекраснаго, что живетъ въ мечтахъ, порывахъ и стремленіяхъ этого возраста. Стоитъ прочесть, напримѣръ, слѣдующій исполненный поэтической прелести, отрывокъ, изображающій юношескія грезы, навѣянные картиною ясной лѣтней ночи: «Все (въ этой картинѣ) получало для меня странный смыслъ—смыслъ слишкомъ большой красоты и какого-то недоконченнаго счастья. И вотъ являлась она, съ длинною, черною косою, высокою грудью всегда печальная и прекрасная, съ обнаженными руками, съ сладострастными объятіями. Она любила меня, я жертвовалъ для одной минуты ея любви всею жизнью. Но луна все выше и выше, свѣтлѣе и свѣтлѣе стояла на небѣ, пышный блескъ пруда, равномерно усиливающійся, какъ звукъ, становился яснѣе и яснѣе, тѣни становились чернѣе и чернѣе, свѣтъ прозрачнѣе и прозрачнѣе, и вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мнѣ, что она съ обнаженными руками и пылкими объятіями еще далеко-далеко не все счастье, что и любовь къ ней далеко-далеко еще не все благо; и чѣмъ больше я смотрѣлъ на высокій, полный мѣсяцъ, тѣмъ истин-

ная красота и благо казались мнѣ выше и выше, чище и чище, ближе и ближе къ Нему, къ источнику всего прекраснаго и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости наворачивались мнѣ на глаза».

Итакъ, вступая черезъ отрочество, разрушившее наивный и очаровательно-чистый міръ дѣтства, въ юность, человѣкъ встрѣчаетъ въ ней много прекрасныхъ надеждъ, чувствуетъ въ себѣ много силъ и стремленій, которыя должны-бы дать ему полное и высокое счастье; но едва онъ начинаетъ жить, тратить этотъ многообѣщающій запасъ силъ, какъ жизнь его наполняется какою-то мелочностью и ложью, столь непохожими на великія ожиданія отъ нея. Сбываются-ли эти ожиданія въ позднѣйшіе періоды человѣческой жизни, объ этомъ не говоритъ разсматриваемая повѣсть, опускающая передъ нами занавѣсъ раньше даже, чѣмъ оканчивается юность; но объ этомъ говорятъ другія произведенія художника Толстого, къ которымъ мы теперь и обратимся.

IV.

Повѣсти и рассказы.

Періодъ писательской дѣятельности графа Л. Н. Толстого отъ 1852 до 1861 года можетъ быть названъ періодомъ рассказовъ и повѣстей. Кромѣ большой повѣсти—«Дѣтство, отрочество и юность»,— о которой мы уже говорили, въ это-же время нашимъ художникомъ было написано много другихъ повѣстей и рассказовъ и только одинъ романъ («Семейное счастье»), да и то небольшой по объему и до исключительности простой по фабулѣ. Въ это время талантъ графа Толстого какъ-бы испытывалъ свои силы и на разработкѣ некрупныхъ художественныхъ темъ какъ-бы подготавлился къ тѣмъ великимъ созданіямъ, появленіемъ которыхъ отмѣченъ послѣдующій періодъ его литературной дѣятельности.

Но, несомнѣнно уступая большимъ романамъ нашего художника и широтою захвата, и глубиною творческаго замысла, его повѣсти и рассказы представляются тѣмъ не менѣе мастерскими произведеніями, всегда содержательными, всегда оригинальными по

гда и положительно чудесными по той юва и силѣ художественнаго образа, ко-бы дѣйствительно творять кругомъ васъ ую жизнь, заставляють ее чувствовать, формы, видѣть ея краски, слышать ея держаніе этихъ повѣстей и рассказовъ о разнообразно. Часть изъ нихъ посвя-аженію войны и основою своею привя-горическимъ событіямъ — осадѣ Севасто-казскимъ походамъ. Другіе говорятъ о ѣ человекѣ, третьи воспроизводятъ народ-Есть даже рассказы изъ жизни живот-роды.

ѣ пока въ сторонѣ войну и посмотримъ жизнь человека въ изображеніи ея гра-ымъ.

«Утро помещика» есть, какъ извѣстно, зъ неоконченнаго романа «Русскій помѣ-название несозданнаго романа въ связи ніемъ существующаго отрывка даетъ по-лагать, что авторъ имѣлъ въ виду пред-инъ изъ типовъ русскаго дворянства. гъ типъ мягкаго, искренно доброжела-лагороднаго, но отвлеченнаго и непрак-итателя, который образовался въ нашей і средѣ подъ вліяніемъ гуманитарнаго роковыхъ годовъ. Князь Нехлюдовъ, еще силѣтній юноша, бросаетъ университетъ я въ деревнѣ ради своей «священной и занности заботиться о счастіи семисотъ

человѣкъ» своихъ крестьянъ, которыхъ, по его мнѣнію, грѣшно «покидать на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ-за плановъ наслажденія или честолюбія». Каждое воскресное утро, согласно установленному распредѣленію времени, молодой помѣщикъ обходилъ своихъ бѣдныхъ крестьянъ съ цѣлью ознакомиться съ ихъ нуждами и оказать имъ возможную помощь. Пользуясь одною изъ такихъ филантропическихъ прогулокъ князя Нехлюдова, авторъ заглядываетъ въ нѣсколько крестьянскихъ дворовъ и описываетъ эти удивительныя человѣческія жилища и ихъ своеобразныхъ обитателей. Въ описаніяхъ этихъ, не смотря на ихъ краткость, онъ успѣваетъ создать нѣсколько типовъ русскаго мужика. И хотя эти типы образованы изъ чертъ, схваченныхъ первымъ впечатлѣніемъ, подмѣченныхъ въ нѣсколько минутъ наблюденія, хотя они созданы всего нѣсколькими штрихами, тѣмъ не менѣе они отличаются замѣчательною художественною определенностью и правдоподобіемъ. Это живыя лица, каждый съ своимъ характеромъ, съ своей индивидуальной фizioноміей, и въ то-же время во всѣхъ ихъ вы чувствуете знакомую стихію народнаго духа, связывающую ихъ съ русскою землею, съ русскимъ бытомъ, съ русскою исторіею.

Здѣсь кстати замѣтить, что народные типы графа Толстого до сихъ поръ остаются недостижимыми образцами для нашихъ художниковъ. Несмотря на то, что беллетристика послѣдняго времени весьма часто бралась за сюжеты изъ народной жизни, ей ни разу не

подняться до той художественной правды, кореникнутой творенія Толстого. Идеализація на одной стороны и стремленіе изображаетъ его въ видѣ сплошной каторги съ другой—стояли поръ стоять непреодолимыми препятствіями къ этой правдѣ. Мы не говоримъ здѣсь, о Тургеневѣ: его «Записки охотника» явнѣе произведеній Толстого.

народная жизнь, однако, составляетъ главный въ разсматриваемой повѣсти. Въ ней развитъ мотивъ, въ ней раскрывается природа филанскихъ стремленій человѣка. И въ наше эгоистическое время найдется немало людей, чихъ въ существованіе въ душѣ человѣка сальныхъ желаній добра и счастья обществу или еству, въ способность его жить этими желаніи трудиться ради нихъ; въ пятидесятые-жѣ эту эпоху возрожденія у насъ обществендеаловъ, подобное вѣрованіе было господствующимъ возводилось едва-ли не въ обязанность всеразованнаго и честнаго человѣка. Но нашъ икъ не поддавался этому всеобщему увлеченію влю доискаться правды, направилъ свой анализъ тѣ психическіе мотивы, которыми обусловлена общественная дѣятельность. Онъ не отрицествованія такихъ мотивовъ, онъ тольколся въ ихъ исключительной природѣ, въ томъ рѣ самостоятельности, который имъ припи-

ой повѣсти, князь Нехлюдовъ, вѣрить въ

любовь-самоотверженіе, вѣрить въ счастье жизни, отданной на пользу другихъ людей. Какъ мы уже сказали, онъ бросаетъ столицу, привычное общество, университетъ, прежніе планы и ѣдетъ въ деревню устраивать своихъ крестьянъ. Казалось-бы, при такихъ намѣреніяхъ благо cadaго крестьянина должно стать его естественною цѣлью; казалось-бы, отъ живой личности cadaго изъ нихъ онъ и долженъ-бы отправляться въ своихъ заботахъ и въ своей дѣятельности; казалось-бы, любовь, да развѣ еще сожалѣніе, могли быть единственными чувствами его къ этимъ людямъ. Но повѣсть деревенской жизни князя говоритъ другое. Встрѣтивъ во время своего обхода болѣзненнаго, апатичнаго, лѣниваго и бѣднаго мужика (Давыдку-Бѣлаго), князь не чувствуетъ къ нему ни любви, ни состраданія; съ нимъ происходитъ нѣчто другое: «Что мнѣ дѣлать съ нимъ? Оставить его въ этомъ положеніи невозможно и для себя, и для примѣра другимъ, и для него самого невозможно. Я не могу видѣть его въ этомъ положеніи, а чѣмъ вывести его? Онъ уничтожаетъ всѣ мои лучшіе планы въ хозяйствѣ. Если останутся такіе мужики, мечты мои никогда не сбудутся,—подумалъ онъ, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушеніе его плановъ. Сослать на поселеніе, какъ говоритъ Яковъ (прикащикъ), коли онъ самъ не хочетъ, чтобъ ему было хорошо, или въ солдаты? Точно: по крайней мѣрѣ и отъ него избавлюсь, и еще замѣню хорошаго мужика».

Мечты—вотъ главное! Если тотъ, кого мы хотимъ

осчастливить, разрушаетъ эти мечты, мы испытываемъ противъ него злобу и вмѣсто счастья готовы наградить его ссылкой или отдачей въ солдаты... Значеніе этой мечты авторъ дорисовываетъ другою сценою. Придя на пчельникъ богатаго крестьянина Дутлова, Нехлюдовъ подъ вліяніемъ пахнущаго на него мира, довольства и добродушія забылъ тяжелыя впечатлѣнія утра, «и его любимая мечта живо представилась ему. Онъ видѣлъ уже всѣхъ своихъ крестьянъ такими-же богатыми, добродушными, какъ старикъ Дутловъ, и всѣ ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своимъ богатствомъ и счастьемъ». Такъ вотъ пружина филантропической дѣятельности! Осчастливьте людей помимо насъ, и мы не будемъ радоваться. Пусть даже мы дадимъ имъ это счастье, но они не будутъ этого знать, не будутъ ласково и радостно намъ улыбаться,—и мы не почувствуемъ себя удовлетворенными; предвидя такой исходъ нашихъ трудовъ и стараній, мы, быть можетъ, и не захотѣли-бы добывать это счастье для людей. Повѣсть оканчивается сопоставленіемъ мечты, завлекшей князя Нехлюдова въ деревню, убѣжденій его, что самоотверженная любовь есть единственное истинное счастье, съ тѣмъ разочарованіемъ, къ которому онъ пришелъ черезъ годъ и пришелъ потому, что не нашелъ счастья, хотя страстно желалъ его. Отчего-же наступило это разочарованіе? Отчего Нехлюдовъ не могъ быть счастливымъ? Оттого, говоритъ намъ повѣсть, что онъ только мечталъ о красотѣ и счастьѣ самоотверженной люб-

ви, но въ дѣйствительности не любилъ этого Чури-са, Юхванку-Мудренаго, Давыдку-Бѣлаго, всѣхъ этихъ живыхъ людей, ради которыхъ онъ, будто-бы, пріѣхалъ въ деревню. Онъ любилъ только свою мечту, свою надуманную роль благодетителя, и потому, когда дѣйствительность оказалась не въ ладу съ его мечтою, когда отъ ея суроваго прикосновенія развѣялись прекрасныя юношескія грезы, онъ почувствовалъ себя несчастнымъ.

Маленькая повѣсть «Записки маркера» останавливаетъ на себѣ вниманіе прежде всего оригинальностью формы. Это безыскусственный, простой рассказъ маркера объ одномъ изъ постоянныхъ посѣтителей билліардной. Но въ этомъ рассказѣ—цѣлая исторія паденія жизни, цѣлая драма, разрѣшающаяся самоубійствомъ. Драма эта чисто внутренняя; рассказъ-же касается только тѣхъ внѣшнихъ проявленій жизни, которыя могъ видѣть маркеръ въ ресторанѣ и которыя были доступны его пониманію. Въ сопоставленіи этого внутренняго сюжета съ внѣшними приемами описанія и заключается оригинальность повѣсти. Въ концѣ концовъ оказалось, однако, что слова маркера безсильны передать внутреннюю жизнь кончившаго самоубійствомъ князя Нехлюдова. Потребовалась записка самоубіцы. Содержаніе этой записки весьма характерно. Вотъ что пишетъ Нехлюдовъ:

«Богъ далъ мнѣ все, чего можетъ желать человекъ: богатство, имя, умъ, благородныя стремленія. Я хотѣлъ наслаждаться и затопталъ въ грязь все,

мнѣ хорошаго. Я не обезчещенъ, не сдѣлалъ никакого преступленія; но е: я убилъ свои чувства, свой умъ, .. Я опутанъ грязною сѣтью, изъ ко- тутаться и въ которой не могу при- престанно падаю, падаю, чувствую не могу остановиться...

убило меня? Была-ли во мнѣ какая- и страсть, которая бы извинила меня?

и воспоминанія! Одна ужасная ми- которой я никогда не забуду, заста- ниться. Я ужаснулся, когда увидѣлъ, имая пропасть отдѣляла меня отъ тѣбѣ и могъ быть. Въ моемъ вообра- надежды, мечты и думы моей юности. тлѣны мысли о жизни, о вѣчности, о съ такою ясностью и силою напол- ту? Гдѣ безпредметная сила любви, отой согрѣвавшая мое сердце? Гдѣ вѣритіе, сочувствіе ко всему прекрас- ь роднымъ, къ ближнимъ, къ труду, понятіе обязанности?»

я могъ быть хорошъ и счастливъ, ю той дорогѣ, которую, вступая въ , мой свѣжій умъ и дѣтское, истинное ь пробовалъ я выйти изъ колеи, по я жизнь на эту свѣтлую дорогу. Я употреблю все, что есть у меня воли, да я оставался одинъ, мнѣ станови-

лось неловко и страшно съ самимъ собой. Когда я былъ съ другими, я забывалъ невольно свои убѣжденія, не слыхалъ болѣе внутренняго голоса и снова падалъ.

«Наконецъ я дошелъ до страшнаго убѣжденія, что не могу подняться, пересталъ думать объ этомъ и хотѣлъ забыться; но безнадежное раскаяніе еще сильнѣе тревожило меня. Тогда мнѣ въ первый разъ пришла мысль о самоубійствѣ...

«Я думалъ прежде, что близость смерти возвыситъ мою душу. Я ошибался. Черезъ четверть часа меня не будетъ, а взглядъ мой нисколько не измѣнился. Я также вижу, также слышу, также думаю; та же странная непослѣдовательность, шаткость и легкость въ мысляхъ.

«Непостижимое созданіе человѣкъ!»

Какъ видимъ, этимъ маленькимъ рассказомъ затронута весьма интересная и серьезная тема. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ, одаренный всѣми благами судьбы, вмѣсто счастья, носить въ душѣ неотступную муку, вмѣсто жизни избираетъ добровольную смерть?— Къ сожалѣнію, мы не находимъ въ настоящемъ рассказѣ той глубокой, художественной разработки взятой темы. на которую способенъ графъ Толстой. Онъ даетъ здѣсь только нѣсколько намековъ для разрѣшенія поставленнаго вопроса. Не сильная страсть, не преступленіе, не безчестный поступокъ погубили Нехлюдова,—нѣтъ: онъ погибъ отъ безсилія осуществить свѣтлыя мечты и благородныя думы своей молодости, онъ погибъ оттого, что душа его сохранила

сокихъ и чистыхъ стремленій, въ то
нѣ его упала въ грязь пошлости,
езрѣнныхъ интересовъ и жалкихъ
въ него живутъ люди тою-же жизнью.
вуютъ возможности иного, высокаго
частя для человѣка и они спокойны.
и другіе характеры, есть сильные.
цы за свои идеалы, способные на
чу. Но князь Нехлюдовъ не изъ ихъ
дѣ своей чистый идеалъ жизни, онъ
обходимой для его осуществленія.
еннаго противорѣчія и развивается
ю показалъ намъ графъ Толстой.
какое-либо исключительное явленіе,
обенностями той или другой эпохи;
вторяется и въ наше время и будетъ
бхъ поръ, пока будутъ существовать
рядомъ съ безсильными характе-

азсказъ «Люцернъ» принадлежитъ
жественнымъ произведеніямъ графа
щности это довольно отвлеченное
уроченное къ одному факту загра-
оразившему князя Нехлюдова (на-
ь есть какъ-бы отрывокъ изъ запис-
людова). Фактъ этотъ состоялъ въ
обитатели великолѣпной люцернской
ейцергофа не дали ничего бѣдному
пѣвцу, который втеченіе получаса
воимъ пѣніемъ и игрою на гитарѣ.

Но если рассказъ этотъ не представляетъ ничего особеннаго въ художественномъ отношеніи, зато въ немъ содержатся идеи, чрезвычайно характерныя для міровоззрѣнія графа Толстого. Упомянутое съ передъ люцернской гостинницей кажется князю Хлюдову совершенно новымъ, страннымъ и ошущимся не къ вѣчнымъ дурнымъ сторонамъ чело-вѣческой природы, но къ извѣстной эпохѣ развитія ства. «Это фактъ не для исторіи дѣяній люд-скихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи. Отчего безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ соби-раются путешествующіе самые цивилизованные люди съ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, образованные люди, способные въ общемъ на всякое че-ловѣческое дѣло, не имѣютъ чело-вѣческаго серд-ца? Отчего эти въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ, о распространеніи христіанства и образ-ованіи въ Африкѣ, о составленіи общества исправленіи чело-вѣчества, не находятъ въ душѣ своей ни одного первобытнаго чувства чело-вѣка къ чело-вѣку? Не имѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняли тщ-ли, честолюбіе и корысть, руководящія этихъ лю-дей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ? Не распространеніе разумной, себялюбивой ассо-циациі, которую называютъ цивилизаціей, у

жаетъ и противорѣчить потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій?».

Здѣсь подвергается сомнѣнію благо цивилизаціи. Въ исторіи мысли это, правда, не первое сомнѣніе въ цивилизаціи. Не съ графа Толстого, конечно, начинается отрицательное къ ней отношеніе. Но отношеніе это прекрасно отбѣняетъ скептицизмъ графа. Рассматривая цивилизацію, которою такъ горда современная Европа и содѣйствіе которой считается высшею заслугой cadaго челоѣка, графъ Толстой старается пошатнуть этотъ новый кумиръ, старается показать то зло, которое несетъ съ собою эта прославленная цивилизація. И его нападки на нее отличаются мѣткостью и силою, хотя въ то-же время онъ и односторонни: въ цивилизаціи не одно только зло. Вырастающее съ нею вмѣстѣ новое зло есть часто только необходимый спутникъ новаго блага, которое въ свою очередь нерѣдко бываетъ непримиримымъ врагомъ блага стараго, и если цивилизація дѣйствительно не можетъ совмѣстить въ одномъ моментѣ все то добро и благо, которыми пользовалось челоѣчество въ различныя времена своей многоѣковой исторіи и которыя можно вложить въ непомѣрно требовательный идеальный критерій, то въ ней, какъ и во всякомъ другомъ состояніи челоѣческихъ обществъ, есть свое благо, свои преимущества, свои источники наслажденій. И безпристрастный взглядъ не можетъ этого не замѣтить.

«Альбертъ» — маленькое, но художественное произведение, рисующее странную смѣсь душевной приниженности, убожества и величія въ лицѣ бѣднаго, спившагося, но талантливаго и восторженнаго виртуоза музыканта.

«Два гусара» — повѣсть съ преобладающимъ бытовымъ интересомъ. Это своего рода «Два поколѣнія», или «Отцы и дѣти». Только, изображая свои два поколѣнія, графъ Толстой имѣетъ въ виду не идеи или общественныя aspiraціи, а просто характеры. Представитель отцовъ — графъ Ѳедоръ Турбинъ — принадлежитъ первому поколѣнію начала нынѣшняго столѣтія; сынъ его живетъ двадцатью годами позднѣе. Сопоставляя характеры этихъ двухъ гусаръ, авторъ вызываетъ на сравненіе и оцѣнку ихъ, и вы чувствуете, какъ симпатія ваша невольна склоняется въ сторону Турбина-отца, несмотря на то, что даже и не особенно строгая мораль нашла бы въ немъ не мало пороковъ. Графъ Ѳедоръ Турбинъ — своеобразное и удивительное произведеніе своего времени, того времени, «когда не было еще ни желѣзныхъ, ни шоссе-ныхъ дорогъ, ни газоваго, ни стеариноваго свѣта, ни пружинныхъ, низкихъ дивановъ, ни мебели безъ лаку, ни разочарованныхъ юношей со стеклышками, ни милыхъ дамъ-каamelій, которыхъ такъ много развелось въ наше время, — того наивнаго времени, когда изъ Москвы, выѣзжая въ Петербургъ, въ повозкѣ или въ каретѣ, брали съ собой цѣлую кухню домашняго приготовления, ѣхали восемь сутокъ по мягкой, пыльной или грязной дорогѣ и вѣрили въ пожарскія котлеты,

іе колокольчики и бублики, — когда въ
зніе вечера нагарали сальныя свѣчи,
нейныя кружки изъ двадцати и тридцати
за балахъ въ канделябры вставлялись
спермацетовыя свѣчи, когда мебель ста-
рично, когда наши отцы были молоды
отсутствіемъ морщинъ и сѣдыхъ волосъ,
ь за женщинъ и съ другого угла комнаты
поднимать нечаянно и ненечаянно уронен-
ки, наши матери носили коротенькія
омные рукава и рѣшали семейныя дѣла
ь билетиковъ; когда прелестныя дамы-
тались отъ дневного свѣта, — наивнаго вре-
скихъ ложъ, мартинистовъ, тутендбунда,
порадовичей, Давыдовыхъ, Пушкиныхъ»...
едоръ Турбинъ, случается, до крови разби-
номію своему лакею, травить станціоннаго
собакой, бьетъ шулера и беретъ выигран-
ныги, но беретъ не для себя: часть ихъ онъ
оигравшему казенныя суммы молодень-
гу, другую бросаетъ поющему хору цы-
списъ на балу хорошенькою вдовою, онъ
отъ нея разрѣшенія на поцѣлуй и, чтобы
ѣщанное, бѣжитъ прямо изъ зала, въ од-
ірѣ, къ подъѣзду, забирается въ карету
, ждетъ ее и затѣмъ вмѣстѣ съ нею ѣдетъ
Онъ часто забываетъ отдавать свои долги;
въ умираетъ на дуэли съ какимъ-то ино-
котораго онъ высѣкъ арапникомъ. Но во
ѣйствіяхъ или, если хотите, во всѣхъ этихъ

безобразіяхъ столько смѣлой, искренней и безкорыстной жажды жизни, все это совершается у него такъ наивно, такъ естественно вытекаетъ изъ избытка молодой, рвущейся на просторъ силы, что какое-то внутреннее чувство противъ вашей воли дѣлаетъ его недоступнымъ для осужденій обычной морали и поднимаетъ его гораздо выше его аккуратнаго, сдержаннаго и расчетливаго сына, преданнаго заботамъ о своей карьерѣ, старающагося каждый день за чаемъ пить ромъ своего пріятеля, способнаго хладнокровно обыграть добрую старушку на ужасную для нея сумму въ преферансъ съ мизерами, въ которыхъ она ничего не понимаетъ, трусливо и пошло задумавшаго воспользоваться невинностью деревенской барышни и прилично уклонившагося отъ дуэли со своимъ сослуживцемъ, Полозовымъ, назвавшимъ его подлецомъ за эти нечистые замыслы. Не польстилъ авторъ «отцамъ», но по сердцу, по натурѣ человѣка ихъ время представляется намъ все-же лучшимъ, чѣмъ болѣе цивилизованное время «дѣтей». Съ этой точки зрѣнія и въ настоящей повѣсти можно подмѣтить тотъ-же мотивъ, что и въ «Люцернѣ».

Разсказъ «Три смерти» относится къ разряду тѣхъ художественныхъ параллелей, о которыхъ мы говорили выше. Въ немъ описаны три случая смерти: въ богатомъ, аристократическомъ домѣ, въ Москвѣ, умираетъ дама, въ бѣдной крестьянской избѣ умираетъ извозчикъ и... въ лѣсу умираетъ дерево. За чѣмъ понадобилась автору эта параллель? Что общаго можетъ быть въ смерти человѣка и въ смерти дерева?

Ужъ не фальшива-ли основная тема разсказа? Такіе вопросы приходятъ вамъ въ голову, когда отдѣляясь отъ обаянія художественнаго впечатлѣнія, вы ете вдумываться въ эту оригинальную кон-

Скоро, однако, недоумѣнія ваши разсѣиваются и передъ вами открывается идея, требующаяго сопоставленія. Смерть — роковой и неизбѣжный законъ всего живого. Помимо воли и сопротивления и возникаетъ все живое, помимо воли и умираетъ, уступая свое мѣсто новой жизни. Но, просто и гармонически совершается это обновленіе жизни во всей природѣ; одинъ только человекъ вноситъ въ эту гармонию диссонансъ своимъ жалкимъ, жалкимъ протестомъ, своимъ безпомощнымъ, какъ-бы умышленнымъ отчаяніемъ передъ неизбежностью смерти. Впрочемъ, и изъ людей далеко поддаются этому отчаянію. Простые люди живутъ просто и спокойно: только развитіе, только сложившіяся отъ фактовъ мысль и воображеніе, стараются въ одномъ моментѣ представить человѣку всю горькость и прелесть уходящей жизни, только они приводятъ его къ ужасу и къ безобразной судорогѣ упорнаго сопротивленія.

Она такъ и непокорно умираетъ женщина изъ этого общества. «Она знакомъ подозвала и мужа.

Ты никогда не хочешь сдѣлать, что я прошу, она слабымъ и недовольнымъ голосомъ.

Что, мой другъ?

Сколько разъ я говорила, что эти доктора

ничего не знаютъ: есть простыя лекарки, онѣ вылечиваютъ... Вотъ батюшка говорилъ... мѣщанинъ... Пошли...

— «За кѣмъ, мой другъ?»

— «Боже мой, ничего не хочетъ понимать!.. И больная сморщилась и закрыла глаза.

«Докторъ, подойдя къ ней, взялъ ея руку. Пульсъ замѣтно бился слабѣе и слабѣе. Онѣ мигнулъ мужу. Больная замѣтила этотъ жестъ и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— «Не плачь, не мучь себя и меня, говорила больная,—это отнимаетъ у меня послѣднее спокойствіе.

— «Ты ангелъ! сказала кузина, цѣлуя ея руку.

— «Нѣтъ, сюда поцѣлуй; только мертвыхъ цѣлуютъ въ руку. Боже мой! Боже мой!

«Въ тотъ-же вечеръ больная уже была тѣло»...

Иначе умираетъ въ ямской избѣ извозчикъ Ѳедоръ. «Передъ ночью кухарка влѣзла на печь и черезъ его (больного) ноги достала тулупъ.

— «Ты на меня не серчай, Настасья проговорилъ больной,—скоро опростаю уголь-то твой.

— «Ладно, ладно... чтожъ, ничего, пробормотала Настасья.—Да что у тебя болитъ-то, дядя? Ты скажи.

— «Все нутро изныло. Богъ его знаетъ что.

— «Небось и глотка болитъ, какъ кашляешь?

— «Вездѣ больно. Смерть моя пришла—вотъ что. Охъ-охъ-охъ! простоналъ больной.

— «Ты ноги-то укрой, вотъ такъ, сказала Настасья, по дорогѣ натягивая на него армякъ и слѣзая съ печи.

избѣ слабо свѣтилъ ночникъ. Настасья
лягъ ящичковъ съ громкимъ храпомъ
и по лавкамъ. Одинъ больной слабо
лягъ и ворочался на печи. Къ утру
«першенно».

Проста и трогательна эта смерть,
не можетъ сравняться съ тою красо-
какою умираетъ дерево. Вотъ какъ
вторъ эту замѣчательно граціозную
низомъ звучалъ глуше и глуше, соч-
пки летѣли на росистую траву, и лег-
ышался изъ-за ударовъ. Дерево вздрог-
ломъ, погнулось и быстро выпрями-
о колеблясь на своемъ корнѣ. На
затихло; но снова погнулось дерево,
ескъ въ его стволѣ и, ломая сучья и
и, оно рухнулось макушкой на сырую
юпора и шаговъ затихли. Малиновка
порхнула выше. Вѣтка, которую она
и крыльями, покачалась нѣсколько
рла, какъ и другія, со всѣми своими
вья еще радостнѣе красовались на
ѣ своими неподвижными вѣтвями».

Разсказецъ «Метель» описываетъ всего
въ степи, съ одной станціи на дру-
чью, во время метели. Но этотъ про-
естъ положительно перлъ въ художе-
шеніи. Разсказывать его содержаніе
дать его красоты невозможно, — его
итать да наслаждаться вырастающими

изъ строкъ картинами и образами, да удивляться той силѣ и художественной выразительности слова, до которой довелъ его графъ Толстой.

«Холстомѣрь» — новинка для русской публики. Этотъ своеобразный рассказъ впервые появился въ послѣднемъ изданіи сочиненій графа Толстого, хотя написанъ былъ еще въ 1861 году. Задуманъ этотъ рассказъ чрезвычайно оригинально: это — исторія лошади, исторія пѣгаго мерина Холстомѣра, имъ самимъ рассказанная другимъ лошадямъ. «Посерединѣ освѣщеннаго луной двора», такъ описываетъ авторъ обстановку этого рассказа, «стояла высокая, худая фигура мерина съ высокимъ сѣдломъ, съ торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и въ глубокомъ молчаніи стояли вокругъ него, какъ-будто онѣ что-то новое, необыкновенное узнали отъ него. И точно новое и неожиданное они узнали отъ него». Пять ночей рассказывалъ имъ меринъ свою исторію...

Благодаря этому оригинальному приему творчества, все произведеніе получаетъ нѣсколько фантастическій колоритъ и по духу своему напоминаетъ народныя, въ особенности восточныя сказанія. Но фантастичность эта нимало не мѣшаетъ смѣлому реализму произведенія. Въ немъ изображается наша земная человѣческая жизнь, съ ея дѣйствительнымъ содержаніемъ, изображается съ правдою замѣчательною, только преломляется эта жизнь не въ глазу человека, а въ глазахъ другого существа — лошади. Авторъ смотритъ на жизнь не съ точки зрѣнія привычныхъ понятій, традиціонныхъ условностей и фик-

гь ищетъ свободнаго, безпристрастнаго
изнь и приписываетъ его герою своего
ому мерину. Какъ дымъ разсѣивается
ѣннiи самомнительная иллюзія чело-
зключительномъ достоинствѣ и при-
вляется намъ только «бѣднымъ дву-
ымъ», только особою зоологическою
лѣ. Эта мысль объ убожествѣ и жи-
ловѣка до такой степени правдиво и
) проведена черезъ весь рассказъ, что
> него выносишь самое безотрадное и

сказъ представляетъ собою исторію
ь и передается лошадыю. Нѣсколько
юсвящены жизни бывшаго хозяина
снзя Серпуховскаго. Но эта вторая
нически только присоединена къ пер-
съ нею единствомъ художественной
единствомъ пессимистическаго тона;
оставленія ихъ обѣихъ ярко и отчет-
я передъ нами все содержаніе основ-
изведенія. Только вторая часть и за-
, почувствовать бѣдность и искус-
ашенную ничтожность человѣческой
те хотя-бы заключительныя строки
ащія не только объективизмомъ, но
ніемъ къ человѣку, и вы поймете, на-
тѣніе рассказа обусловлено его послед-
одившее по свѣту, ѣвшее и пившее,
ерпуховскаго убрали въ землю гораздо

послѣ. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А какъ уже 20 лѣтъ всѣмъ въ великую тягость было его ходившее по свѣту мертвое тѣло, такъ и уборка этого тѣла въ землю была только лишнимъ затрудненіемъ для людей. Никому уже онъ давно былъ не нуженъ, всѣмъ уже давно онъ былъ въ тягость; но все-таки мертвые, хоронящіе мертвыхъ, нашли нужнымъ одѣть это тотчасъ-же загнившее тѣло въ хорошій мундиръ, въ хорошіе сапоги, уложить въ новый, хорошій гробъ, съ новыми кисточками на четырехъ углахъ, потомъ положить этотъ новый гробъ въ другой, свинцовый, и свезти его въ Москву и тамъ раскопать давнишнія людскія кости, и именно туда спрятать это гніющее, кишашее червями тѣло въ новомъ мундирѣ и вычищенныхъ сапогахъ, и засыпать все землею».

V.

изы изъ севастопольской и кавказской жизни.

а — этотъ старинный и до сихъ поръ неиз-
фактъ исторіи—съ незапамятныхъ временъ
ла къ себѣ интересъ и вниманіе человѣка
ь роковымъ значеніемъ возбуждала въ немъ
ужаса, удивленія и восторга. Съ незапамят-
еменъ сдѣлалась она и предметомъ народ-
рчества. Каждый народъ имѣлъ свой герои-
посъ и поприщемъ подвиговъ его героевъ
измѣнно война. Герои эти выросли въ на-
воображеніи до необыкновенныхъ размѣровъ
мужества, самая-же война превращалась въ
) блестящую арену ихъ удивительныхъ по-
и разсматривалась какъ-то отвлеченно, только
ищихъ результатахъ, въ торжествѣ побѣды
рѣ пораженія, независимо отъ тѣхъ страда-
юви, изъ которыхъ она состояла въ дѣйстви-
и. Съ индивидуализаціей творчества не измѣ-
тношеніе поэзіи къ войнѣ. Писатели древ-
а, псевдо-классики и романтики, несмотря

на все разнообразіе ихъ міропониманія и ихъ литературныхъ пріемовъ, сошлись, однако, въ точкѣ зрѣнія на войну. Всѣ они изображали ее съ той стороны, съ которой видны только слава и доблесть ея дѣятелей. Не избѣгали они, правда, и ея ужасовъ, представляли ихъ даже, быть можетъ, гиперболически, но—лишь въ общей и безличной картинѣ, лишь какъ стихію войны, которая служила прекраснымъ фономъ для изумительныхъ дѣяній ея героевъ... Пришло время реализма въ искусствѣ; но и здѣсь прежняя иллюзія войны долго не уступала народившемуся стремленію къ правдѣ. Достаточно вспомнить, напримѣръ, «Полтаву» Пушкина—родоначальника нашихъ реалистовъ. И не только Пушкинъ, платящій еще значительную дань романтизму, но и такой несомнѣнный реалистъ, какъ Гоголь, передъ величіемъ войны отступаетъ отъ своей натуралистической манеры. Что такое война въ его «Тарасѣ Бульбѣ»? Это не жизнь массы человѣческихъ единицъ, думающихъ, чувствующихъ, страдающихъ отъ ранъ, истекающихъ кровью и умирающихъ; это — изображеніе .мощи и дикой силы запорожскаго характера, это—великолѣпная картина казацкой удали и разгула, вставленная въ эффектную раму истребленія и смерти.

Графъ Толстой первый подошелъ къ правдѣ войны и, сдернувъ навѣшанныя на нее покрывала, смѣло взглянулъ въ лицо ея. Война никогда не является у него только пьедесталомъ славы какого-либо героя, только рамою, оттѣняющею чьи-либо подвиги. Онъ

имъ процессомъ войны, онъ ставитъ и понять ея бурную хаотическую пружину и расчленяетъ ее на отдѣлы, изъ которыхъ она воплощается; онъ видитъ ея движеньями массъ, но за судьбою каждой единицы, потонувшей въ этихъ волнахъ, изъ этого моря людей, изъ этой суматохи и дисциплиною, выдѣляетъ личность и живыми чертами изобразилъ исключительной обстановки.

Благодаря этому, всѣ участники войны генерала и кончая послѣднимъ рядъ дѣйствительными героями его романа, связанный своимъ художническимъ талантомъ, онъ не покидаетъ ее втеченіи жизни и никогда не заходитъ въ тѣ моменты, гдѣ личность пропадаетъ и отступаетъ стратегическая схема дѣйствій, о творчествѣ, и онъ всюду съ нею: и въ ложементѣ, и въ солдатской палаткѣ, и на городской улицѣ, и на городскомъ базарѣ; онъ показываетъ ее и въ моменты, когда, подъ градомъ непріятельскихъ пуль, въ моментъ отдыха, гдѣ-нибудь, — показываетъ, что она ощущаетъ, что она веселится въ свободную минуту, что она слышитъ свистящими пулями, какъ мучаются, какъ отдается тщеславному честолюбію, о наградахъ, о славѣ, какъ совершаетъ подвиги мужества и

великодушія и какъ мелочно, грубо и зло вздорить изъ-за какого-нибудь проиграннаго въ карты рубля; показываетъ, какъ создаются событія войны, какъ приказываютъ и какъ повинуются, какъ человѣкъ втыкаетъ штыкъ въ другого человѣка, какъ гранаты и бомбы рвутъ на части его тѣло, какъ падаетъ онъ въ грязь и кровь свалки, какъ стонетъ — раненый, какъ умираетъ—убитый...

Этотъ микроскопическій анализъ войны у графа Толстого явился новымъ и оригинальнымъ приѣмомъ творчества. Теперь-же онъ сдѣлался приѣмомъ необходимымъ: только такой анализъ и можетъ раскрыть дѣйствительную правду и смыслъ массовыхъ движеній. Современные художники поняли это и при изображеніи войны сознательно или безсознательно слѣдуютъ манерѣ графа Толстого.

Все сказанное нами объ истинно реалистическомъ представленіи войны относится ко всѣмъ произведеніямъ нашего художника, касающимся военныхъ событій. Но пока мы не будемъ говорить о крупнѣйшемъ и замѣчательнѣйшемъ изъ нихъ—о «Войнѣ и Мирѣ» — и ограничимся только севастопольскими и кавказскими рассказами. Рассказы эти явились раньше названнаго историческаго романа и въ нихъ впервые выразился тотъ смѣлый и глубокій взглядъ на жизненную правду войны, который впослѣдствіи съ такимъ неподражаемымъ искусствомъ авторъ проводилъ въ широкой картинѣ народныхъ движеній, вызванныхъ Наполеоновскими походами. Но кромѣ этого общаго всѣмъ рассказамъ взгляда, въ нихъ

а мысль, связывающая ихъ един-
и,—мысль, почти неотступно пре-
ра Толстого и сказавшаяся во мно-
вѣяхъ. Мысль эта открывается намъ
опоставленія, въ однихъ и тѣхъ-же
л, культурнаго человѣка, члена ци-
родского общества, и простого селя-
о сына деревни. Болѣе развитый
о человѣка, постоянно чувствую-
ожетъ не сознать грозящихъ ему
чей войны, а потому естественно
ищать и страха передъ ними. Это
неотступно слѣдуетъ за нимъ, про-
ушу при малѣйшей возможности
того, чтобы не поддаться его вла-
нить свой долъ, чтобы не явиться
женъ вести постоянную борьбу съ
апрягать свою нервную силу, дол-
л въ другихъ мотивахъ, способныхъ
мающіяся побужденія боязни и
бразованный человѣкъ можетъ быть
чаянно рисковать жизнью, но храб-
ойное мужество, а тревожное нерв-
яющееся продуктомъ напряженной
и душевныхъ силъ. Совѣмъ дру-
го человѣка. Внутренній миръ его
къ факту, больше ограниченъ ми-
, больше опредѣляется изъ внѣшней
чѣмъ изъ отвлеченныхъ состояній
ствительность войны, разложенная

на ея составные моменты, не есть только опасность: это прежде всего—рядъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ солдатѣ и офицерѣ, это—разныя непредвидѣнныя случайности, это—непрерывно смѣняющіяся впечатлѣнія, то тяжелыя, подавляющія, то радостныя, то комическія. И простой человѣкъ живетъ этими впечатлѣніями и, занятый своимъ дѣломъ, не думаетъ объ опасности. Поэтому для него какъ-бы не существуетъ самой опасности и онъ можетъ спокойно и просто дѣлать то, что надо, можетъ спокойно и просто совершать истинныя чудеса храбрости и героизма, не сознавая ни мѣры своего риска, ни значенія своихъ подвиговъ.

Это глубокое различіе въ душевномъ строѣ культурнаго и простаго человѣка, прекрасно подмѣченное графомъ Толстымъ, и есть тотъ мотивъ, который проходитъ черезъ всѣ его рассказы изъ военного быта.

Для иллюстраціи взглядовъ автора на этотъ предметъ, мы позволимъ себѣ привести параллельно нѣкоторыя сцены изъ его севастопольскихъ рассказовъ.

Вотъ что чувствовалъ адъютантъ Калугинъ (человѣкъ изъ петербургскаго общества), подъѣзжая къ одному изъ бастіоновъ Севастополя во время жаркой канонады: — «Ахъ, скверно! — подумалъ онъ, испытывая какое-то непріятное чувство, и ему тоже пришло предчувствіе, то есть мысль очень обыкновенная—мысль о смерти. Но Калугинъ былъ самолюбивъ и одаренъ деревянными нервами, то, что называютъ храбръ, однимъ словомъ. Онъ не поддался

ву и сталъ ободрять себя, вспомнилъ ютанта, кажется, Наполеона, который, изаніе, маршъ-маршъ, съ окровавленной икалъ къ Наполеону.

es blessé?» сказалъ ему Наполеонъ.—«Je rdon, sire, je suis mort»,—и адъютантъ иди и умеръ на мѣстѣ.

алось это очень хорошо, и онъ вообра- немножко этимъ адъютантомъ, потомъ съ плетью и принялъ еще болѣе лихую идку, оглянулся на казака, который ахъ рысиль за нимъ, и совершеннымъ бѣжалъ къ тому мѣсту, гдѣ надо было пади... Онъ пошелъ по траншеѣ въ мѣ шагъ встрѣчая раненыхъ. Подняв-

онъ повернулъ налѣво и, пройдя по шаговъ, очутился совершенно одинъ. гъ него прожужжалъ осколокъ и уда- шю. Другая бомба поднялась передъ сь, летѣла прямо на него. Ему вдругъ шно; онъ рысью пробѣжалъ шаговъ ь на землю. Когда-же бомба лопнула о, ему стало ужасно досадно на себя оглядываясь, не видаль-ли кто его кого не было.

проникнувъ въ душу, страхъ не скоро это другому чувству. Онъ, который ся, что никогда не нагибается, уско- ми и чуть не ползкомъ пошелъ по ь! нехорошо!» подумалъ онъ, споты-

кнувшись, «непремѣнно убьютъ»; и чувствуя, какъ трудно дышалось ему и какъ потъ выступалъ по всему тѣлу, онъ удивлялся самому себѣ, но уже не пытался преодолѣть своего чувства. Вдругъ гдѣ-то шаги слышались впереди его. Онъ быстро разогнулся, поднялъ голову и, бодро побрякивая саблей, пошелъ уже не такими скорыми шагами, какъ прежде. Онъ не узнавалъ себя. Когда онъ сошелся со встрѣтившимся ему сапернымъ офицеромъ и матросомъ и первый крикнулъ ему: «ложитесь!», указывая на свѣтлую точку бомбы, которая, свѣтлѣе и свѣтлѣе, быстро приближаясь, шлепнулась около траншеи, онъ только немного и невольно, подъ вліяніемъ испуганнаго крика, нагнулъ голову и пошелъ дальше.

— Вишь, какой бравый! сказалъ матросъ, который преспокойно смотрѣлъ на падавшую бомбу и опытнымъ глазомъ сразу расчелъ, что осколки ея не могутъ задѣть въ траншеѣ:—и ложиться не хочетъ.

«Уже нѣсколько шаговъ только оставалось Калугину перейти черезъ площадку до блиндажа командира бастіона, какъ опять на него нашли затмѣніе и этотъ глупый страхъ; сердце забилося сильнѣе, кровь хлынула въ голову, и ему нужно было усиліе надъ собою, чтобы пробѣжать до блиндажа».

А вотъ сценка изъ солдатскаго быта, также въ севастопольской траншеѣ, также подъ непріятельскими выстрѣлами:

«Около порога (блиндажа) сидѣли два старыхъ и одинъ молодой, курчавый солдатъ, изъ жидовъ, прикомандированный изъ пѣхоты. Солдатъ этотъ,

поднявъ одну изъ валявшихся пуль и черенкомъ расплюснувъ ее о камень, ножомъ вырѣзалъ изъ нея крестъ на манеръ георгіевскаго; другіе разговаривая на его работу. Крестъ дѣйствительно вы-
ень красивъ.

что, какъ еще постоимъ здѣсь сколько-
ворилъ одинъ изъ нихъ,—такъ по замиреніи
отставку срокъ выйдетъ.

кже, мнѣ и то всего четыре года до отстав-
юсь, а теперь пять мѣсяцевъ простоялъ
полѣ.

, отставка не считается, слышь, сказалъ

время ядро просвистѣло надъ головами
хъ и въ аршинъ ударилося отъ Мельни-
ата), подходившаго къ нимъ по траншеѣ
ть не убило Мельникова, сказалъ одинъ
убьетъ, отвѣчалъ Мельниковъ.

гъ на-же тебѣ крестъ за храбрость, ска-
дой солдатъ, дѣлавшій крестъ, отдавая его
у.

ить, братъ, тутъ, значить, мѣсяць за годъ
считается — на то приказъ былъ, продол-
говоръ.

къ ни суди, безпремѣнно по замиреніи сдѣла-
ь царскій въ Оршавѣ, и коли не отставка,
зсрочные выпустятъ.

о время визгливая, зацѣпившаяся пулька
надъ самыми головами разговаривавшихъ
сь о камень.

« — Смотри, еще до вечера въ *чистую* выйдешь, сказалъ одинъ солдатъ.

«Всѣ засмѣялись.

«И не только до вечера, но черезъ два часа уже двое изъ нихъ получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно такъ же».

Сравните теперь адъютанта Калугина съ этими солдатами. Невѣроятнымъ кажется, что это существа одной породы: до такой степени велика бездна ихъ раздѣляющая, до такой степени ничтожно сходство ихъ отношеній къ одной и той-же возможности смерти! Аффектированная храбрость Калугина, вызванная красивыми мечтами и тщеславнымъ чувствомъ, глубоко чужда душѣ этихъ солдатъ, точно также какъ ихъ изумительное спокойствіе и наивная покорность судьбѣ совершенно недоступны душѣ свѣтскаго адъютанта.

Калугинъ отнюдь не исключительная личность въ русскомъ военномъ быту, какъ представляетъ его графъ Толстой. Къ нему примыкаетъ цѣлая группа родственниковъ ему по духу Гальциныхъ, Праскухиныхъ, Болховыхъ, Розенкранцевъ, Михайловыхъ; съ другой стороны, выведенный типъ душевной простоты и спокойствія обнимаетъ огромный солдатскій міръ, захватывая въ него и многихъ, преимущественно армейскихъ, офицеровъ, вродѣ капитана Хлопова, который и подъ непріятельскими ядрами остается «такимъ-же, какъ и всегда», и совершенно не понимаетъ, зачѣмъ это нужно казаться чѣмъ-нибудь?

Что-же образовало эти двѣ столь различныя груп-

жду ними эту бездну? Цивилиза-
авторъ. Это она создала Калуги-
Розенкранцевъ и, оторвавъ ихъ
и правды, которая сохранилась
одѣ, унесла на ту сторону безд-
и тщеславіе. Мысль, привел-
му возарѣнію на жизнь, не укла-
изъ ходячихъ доктринъ; мысль
бже и радикальнѣе: она отпра-
гивоположенія западной и сла-
не отъ предпочтенія основъ на-
а беретъ цивилизацію вообще и
ую-то роковую и колоссальную
а, какое-то злое начало, нарушив-
онію природы.

лько въ еще болѣе чистомъ и яр-
шла себѣ мѣсто въ прелестной,
еской повѣсти «Казаки». — Дав-
сазаки—старовѣры «бѣжали изъ
за Терекомъ, между чеченцами,
хребтѣ лѣсистыхъ горъ Боль-
между чеченцами, казаки срод-
усвоили себѣ обычаи, образъ
орцевъ; но удержали и тамъ, во
ѣ, русскій языкъ и старую вѣру».
ый казацкій мірокъ и описываетъ
своей повѣсти. Вся жизнь этого
мірка, этого миниатюрнаго чело-
—и въ обычномъ ея содержаніи,
бныхъ, крупныхъ событіяхъ—от-

разилась въ изображеніи графа Толстого, отчего самое изображеніе получило характеръ удивительной художественной законченности и полноты. За предѣлами этой казацкой станицы живутъ, правда, другіе люди, течетъ другая жизнь, но она не смѣшивается съ жизнью казаковъ, и если даже врывается въ нее, то чуждыми ей потоками, неспособными нарушить ея первобытной цѣльности. «Еще до сихъ поръ казацкіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главную черту ихъ характера»... «Казакъ большую часть времени проводитъ на кордонахъ, въ походахъ, на охотѣ или рыбной ловлѣ. Онъ почти никогда не работаетъ дома. Пребываніе его въ станицѣ есть исключеніе изъ правила, и тогда онъ гуляетъ. Вино у казаковъ у всѣхъ свое, и пьянство есть не столько общая всѣмъ склонность, сколько обрядъ, неисполненіе котораго сочлось-бы за отступничество. На женщину казакъ смотритъ какъ на орудіе своего благосостоянія; дѣвкѣ только позволяетъ гулять, бабу-же заставляетъ съ молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотритъ на женщину съ восточнымъ требованіемъ покорности и труда». Какова-же должна быть личность человѣка при такомъ строѣ жизни? Графъ Толстой съумѣлъ заглянуть въ душу этихъ людей и создалъ цѣлый рядъ оригинальныхъ въ ихъ естественности и простотѣ и глубоко-правдивыхъ характеровъ. На первомъ планѣ вы видите дядю Ерошку. Это старый бобыль, неумимый охотникъ, веселый собесѣдникъ

и гуляка, но въ то-же время онъ, если хотите, и свободный мыслитель и гуманистъ станицы. Посмотрите, до чего онъ додумался въ своихъ одинокихъ скитаніяхъ среди величественной кавказской природы: «Я бывало со всѣми кунакъ. Татаринъ—татаринъ; армяшка—армяшка; солдатъ—солдатъ; офицеръ—офицеръ. Мнѣ все равно, только-бы пьяница былъ. Ты, говорить, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не пей, съ татаринѣмъ не ѣшь.

«— Кто это говоритъ? спросилъ Оленинъ.

«— А уставщики наши. А муллу или кадія татарскаго послушай, — онъ говоритъ: «вы невѣрные гяуры, зачѣмъ ѣдите?» Значить, всякій свой законъ держать. А по моему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть съ звѣря примѣръ возьми. Онъ и въ татарскомъ камышѣ живетъ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаешь. А наши говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь, прибавилъ онъ помолчавъ.

«— Что фальшь? спросилъ Оленинъ.

«— Да что уставщики говорятъ. У насъ, отецъ мой, въ Червленной войсковой старшина—кунакъ мнѣ былъ... Такъ онъ говорилъ, что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говорить, трава выростетъ на могилѣ, вотъ и все (старикъ засмѣялся).

Въ чувствахъ и симпатіяхъ своихъ дядя Ерошка

вполнѣ самостоятеленъ и независимъ отъ общественнаго мнѣнія станицы. Среди всеобщаго ликованія казаковъ въ то утро, когда Лукашка убилъ абрека, одинъ онъ не радуется. Убійство, хотя-бы и врага, вызываетъ въ немъ не радость, а чувство глубокаго сожалѣнія.

«— Чего не видать! съ сердцемъ сказалъ старикъ (когда Лукашка показывалъ ему трупъ убитаго абрека), и что-то серьезное и строгое выразилось въ лицѣ старика.— Джигита убилъ, сказалъ онъ какъ-будто съ сожалѣніемъ».

Кромѣ дяди Ерошки, къ выдающимся персонажамъ повѣсти можно причислить Лукашку, представителя казацкой силы и удали, и строгую красавицу Марьянку—эту своеобразную пару влюбленныхъ; далѣе слѣдуютъ Назарка, пріятель и неизмѣнный сподвижникъ Лукашки, старый и безтолковый казакъ Ергушка, хорошенькая и веселая Устенъка, мать Марьянки, мать и сестра Лукашки и др. Мы не будемъ останавливаться на характеристикѣ каждаго изъ этихъ лицъ; скажемъ только, что всѣ они запечатлѣны чертами яркой индивидуальности, живы, выразительны, поэтичны и въ то-же время всѣ они вѣрны тому психологическому типу простого, некультурнаго человѣка, который только и могъ сложиться въ условіяхъ ихъ первобытной, изолированной жизни.

Вотъ въ этотъ-то уголокъ Кавказа, къ этимъ-то людямъ попадаетъ герой повѣсти, «молодой человѣкъ» изъ московскаго общества—Оленинъ. Принадлежа къ тому классу русскаго народа, который пу-

темъ постепеннаго историческаго открѣпленія совершенно освободился отъ всѣхъ органическихъ связей съ государствомъ и обществомъ; живя въ то время, которое съ раннихъ лѣтъ разрушило въ немъ всякую вѣру; настолько богатый, чтобы не быть рабомъ нужды; безъ семьи, безъ опредѣленнаго дѣла,—Оленинъ, свободный и ищущій счастья, стоялъ среди жизни и раздумывалъ надъ тѣмъ, что ему сдѣлать изъ себя, куда положить ему свои молодые силы. Онъ много увлекался, успѣлъ промотать на разные городскія удовольствія половину своего состоянія, но въ душѣ его жила та благородная и протестующая требовательность, та эгоистическая, но высокая жажда счастья, которая не позволила ему удовлетвориться этими жалкими подачками жизни, заставила признать ихъ случайными и незначительными, заставила искать новой жизни, безъ прежнихъ ошибокъ, безъ постоянного раскаянія. Поприщемъ этой новой жизни онъ, по установившейся для всѣхъ неудовлетворенныхъ натуръ традиціи, выбралъ Кавказъ, соединяющійся въ его представленіи «съ образами Амалать-бековъ, черкешеновъ, горъ, обрывовъ, страшныхъ потоковъ и опасностей», и обѣщающій славу и какую-то заманчивую неизвѣстность. Пріѣхавъ на Кавказъ и поселившись въ описанной станицѣ Гребенскихъ казаковъ, Оленинъ нашелъ совсѣмъ не то, что ожидалъ; но то, что онъ нашелъ, оказалось неожиданно хорошимъ. «Никакихъ здѣсь нѣтъ бурокъ, стремнинъ, Амалать-бековъ, героевъ и злодѣевъ». думалъ онъ, познакомившись съ дѣйствительностью

кавказской жизни; «люди живутъ, какъ живетъ природа; умираютъ, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьютъ, ѣдятъ, радуются, и опять умираютъ,—и никакихъ условій, исключая тѣхъ неизмѣнныхъ, которыя положила природа солнцу, травѣ, звѣрю, дереву. Другихъ законовъ у нихъ нѣтъ»... И оттого люди эти въ сравненіи съ нимъ самимъ казались ему прекрасны, сильны, свободны, и глядя на нихъ ему становилось стыдно и грустно за себя. Правда и поэзія этой жизни влекла его къ себѣ и ему приходила иногда въ голову серьезная мысль—приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ и жить съ дядей Ерошкой, Лукашкой, со всей станицей. Но смутное сознаніе невозможности для него такой жизни удерживало его. Критическое отношеніе къ себѣ, потребность сознательныхъ цѣлей сохранилась у него и здѣсь, и онъ выдумалъ для себя особую теорію счастья, по которой оно достигалось только любовью къ другому, только самоотверженіемъ. Въ этой теоріи онъ спасался отъ подступавшей иногда тоски одиночества, отъ зависти къ чужому счастью. Не долго однако выдержала эта теоретическая крѣпость передъ натискомъ природы, передъ стремленіемъ истинной страсти. «Пришла красота и въ прахъ разсѣяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу»... Оленинъ полюбилъ красавицу Марьяну. Любовь пришла незамѣтно и постепенно. Сначала онъ любовался ею, какъ совершенствомъ природы, и зная, что ее выдаютъ за Лукашку, находилъ особенное удовольствіе

покровительствовать ихъ любви и дѣлать добро для Лукашки; но мало-по-малу росла и развивалась страсть и наконецъ достигла той степени силы и власти, когда все счастье, весь смыслъ жизни сосредоточиваются въ любимомъ существѣ. Какъ холодное и искусственное построеніе ума, какъ «взоръ и дичь», отбросилъ онъ теперь свою теорію самоотверженія; теперь онъ все готовъ былъ сдѣлать, чтобы только покорить душу любимой Марьяны, чтобы забросить въ нее хоть искру сочувствія изъ своей пылающей груди. И вотъ теперь-то онъ мучительно чувствуетъ проклятіе своего прошлаго, чувствуетъ свое безсиліе, сознаетъ, что «не для него эта женщина, это единственно возможное на свѣтѣ счастье». Онъ знаетъ, что она никогда не пойметъ его. «Она счастлива, — пишетъ онъ: — она, какъ природа, равна, спокойна и сама въ себѣ. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтобы она поняла мои уродства и мои мученія... Вотъ ежели-бы я могъ сдѣлаться казакомъ Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться пѣснями, убивать людей и пьянымъ влѣзать къ ней въ окно на ночку, безъ мысли о томъ, кто я и зачѣмъ я — тогда-бы другое дѣло, тогда-бы мы могли понять другъ друга, тогда-бы я могъ быть счастливъ. Я пробовалъ отдаваться этой жизни, — и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, не гармоническаго, уродливаго прошедшаго». И Оленинъ правъ въ своемъ отчаяніи: Марьяна дѣйствительно отталкиваетъ его...

Вѣрна или невѣрна сама по себѣ указанная нами выше идея о неизбежномъ злѣ цивилизаціи, разсма-триваемая повѣсть остается во всякомъ случаѣ вы-соко-художественнымъ и правдивымъ произведеніемъ. Оленинъ, съ своимъ развитымъ умомъ и утончен-нымъ цивилизаціей чувствомъ, могъ полюбить кра-соту первобытной, неиспорченной женской природы, явившейся ему въ образѣ Марьяны; Марьяна-же, поставленная съ своимъ сердцемъ въ положеніе судьи между Оленинымъ и Лукашкой, совершенно есте-ственно предпочитаетъ послѣдняго. Не умѣя понять даровъ духа, которыми культура наградила Оленина, она въ то-же время прекрасно чувствуетъ въ немъ недостатокъ тѣхъ достоинствъ природы и силы, ко-торыми обладаетъ Лукашка. Оленинъ побѣжденъ въ этой борьбѣ за счастье любви, и побѣжденъ благодаря своему «сложному, негармоническому, уродливому про-шлему», данному ему цивилизованнымъ обществомъ.

VI.

„Семейное счастье“.

не прельщали мечты любви, кого не увлекучудная поэзія, кто не искалъ ея высокихъ вѣтъ!.. Вѣчно поетъ о ней пѣсни, поэты не говорить о ней, и слова ихъ все также свѣжи и, какъ прежде, также доступны сердцу чета также властны будить въ немъ заснувшія занія и поднимать золотыя надежды новаго Любость — это великая потенція челоѣка, и источникъ наслажденія, красоты и поэзіи, тозарная вершина жизни, непреодолимыми влекущая къ себѣ все живое. Надѣлая челоѣкостью любви, природа, казалось, хотѣла дить его за всѣ страданія, за бѣдность и въ жизни, хотѣла дать ему дорогое и несомнѣн-ое.

ь Толстой, пытливо ищущій въ жизни того, ю бы удовлетворить челоѣка, не могъ не ѣ, конечно, этого выдающагося блага. Онъ я на него романомъ «Семейное счастье». Ро-

манъ этотъ выражаетъ какъ-бы чистый законъ любви. Все лишнее, осложняющее, устранено изъ него съ такою тщательностью, что онъ производитъ впечатлѣніе почти психологическаго эксперимента. Въ немъ, въ сущности, только два дѣйствующихъ лица—*онъ* и *она*, Сергѣй Михайловичъ и Маша. Его фабула проста до полного отсутствія всякихъ внѣшнихъ событій, и все содержаніе его исчерпывается естественною и необходимою драмою чувства.

Завязка романа сводится къ тому, что Сергѣй Михайловичъ, помѣщикъ тридцати-шести лѣтъ, любилъ свою сосѣдку по имѣнію, красивую семнадцатилѣтнюю дѣвушку Машу. Она отвѣчала ему самой полной и искренней взаимностью. Любовь ихъ была нѣжная и сильная, стыдливая и гордая, чистая и прозрачная, но въ то-же время это не былъ только плодъ воображенія, только надуманная прекрасная мечта: это было истинное, человѣческое чувство, согрѣтое и обвѣянное дыханіемъ страсти, сдержанное и поднятое идеальными стремленіями. Любовь соединила ихъ: они сдѣлались мужемъ и женой. Началась семейная жизнь, открылась возможность «семейнаго счастья...» «Бракъ есть высочайшая награда любви», писалъ когда-то Бѣлинскій, и многіе идеалисты думаютъ вмѣстѣ съ нимъ, что бракъ—это непреходящее и немеркнувшее счастье любви, что семья—это какой-то зачарованный міръ, гдѣ вѣчно разлито поэтическое сіяніе молодой страсти.

Не такъ смотреть на семейную жизнь нашъ художникъ. Два мѣсяца Сергѣй Михайловичъ и его

молодая жена были дѣйствительно счастливы. Жизнь ихъ была не хуже ихъ прежнихъ мечтаній. «Не было этого строгаго труда, пишетъ Маша, исполненія долга, самопожертвованія и жизни для другого, что я воображала себѣ, когда была невѣстой; было, напротивъ, одно себялюбивое чувство любви другъ къ другу, желаніе быть любимымъ, безпричинное, постоянное веселье и забвеніе всего на свѣтѣ...» Но «прошло два мѣсяца, пришла зима съ своими холодами и метелями, и я, несмотря на то, что онъ былъ со мною, начинала чувствовать себя одинокою, начинала чувствовать, что жизнь повторяется, и нѣтъ ни во мнѣ, ни въ немъ ничего новаго, а что, напротивъ, мы какъ будто возвращаемся къ старому. Онъ началъ заниматься дѣлами безъ меня больше чѣмъ прежде, и опять мнѣ стало казаться, что есть у него въ душѣ какой-то особый міръ, въ который онъ не хочетъ впускать меня. Его всегдашнее спокойствіе раздражало меня». Итакъ, черезъ два мѣсяца уже легкая тѣнь набѣжала на взаимныя отношенія мужа и жены, и едва замѣтная трещинка уже расколола гармонію ихъ свѣтлаго счастья. Замѣтивъ состояніе своей жены, Сергѣй Михайловичъ предложилъ переѣхать на зиму въ Петербургъ. Здѣсь они вошли въ свѣтскую жизнь и Маша увлеклась ею больше, чѣмъ ожидалъ и хотѣлъ ея мужъ, здѣсь произошла первая размолвка, прокралось первое непониманіе другъ друга, сказалось первое жесткое слово, поднялась первая мысль осужденія — и навсегда исчезли прелесть и счастье прежнихъ отношеній. «Прежнія наши отно-

шенія, рассказываетъ Маша, когда бывало всякая непереданная ему мысль, впечатлѣніе, какъ преступленіе, тяготило меня, когда всякій его поступокъ, слово, казались мнѣ образцомъ совершенства, когда намъ отъ радости смѣяться чему-то хотѣлось, глядя другъ на друга,—эти отношенія такъ незамѣтно перешли въ другія, что мы и не хватились, какъ ихъ не стало. У каждого изъ насъ явились свои интересы, заботы, которые мы уже не пытались сдѣлать общими...» «Когда мы оставались одни, что случалось рѣдко, я не испытывала съ нимъ ни радости, ни волненія, ни замѣшательства, какъ будто я сама съ собой оставалась. Я знала очень хорошо, что это былъ мой мужъ, не какой-нибудь новый, неизвѣстный чело-вѣкъ, а хорошій чело-вѣкъ,—мужъ мой, котораго я знала, какъ самое себя. Я была увѣрена, что знала все, что онъ сдѣлаетъ, что скажетъ, какъ посмотре-трить... Я ничего не ждала отъ него. Однимъ словомъ, это былъ мой мужъ и больше ничего».

Что-же случилось? Ничего особеннаго, ничего не-ожиданнаго. Никто изъ нихъ не совершилъ дурного или позорнаго поступка, ничто не измѣнилось изъ внѣшнихъ условій ихъ жизни; не было даже не-избѣжнаго почти въ каждой семейной драмѣ третьяго лица, которое-бы стало между ними и, возбудивъ чувство къ себѣ, разрушило ихъ прежній союзъ; по-водомъ къ ихъ размолвкамъ и несогласіямъ служили всегда такія маленькія, ничтожныя, повседневныя обстоятельства: ей хотѣлось на балы,—его тянуло въ деревню; она болтала съ кузиною про свои семейныя

отношенія,—его оскорбляло это легкомысленное за-
мѣчаніе — святыню его чувства. Можно-бы думать,
являющею причиною паденія ихъ счастья было
о возрастовъ: ему было 36 лѣтъ, ей 17, онъ
уже всевозможныя увлеченія въ жизни,
и они только теперь раскрывались. Но развѣ
мо-бы для ихъ любви, еслибы оба они увле-
дольствіями свѣта, различными прима-
ничной жизни, еслибы вмѣсто испытаннаго
человѣка, старающагося оберегать дорогое
е своей любви, ея мужемъ былъ-бы какой-
оноша, легкомысленно отдающійся всѣмъ
тъ: развѣ не скорѣе еще погибло-бы тогда
мное счастье? Нѣтъ, не отъ того исчезло
человѣкъ слишкомъ бѣденъ, ограниченъ и не-
тъ, чтобы надолго удовлетворить то громад-
ваніе совершенства, которое присуще люб-
и истинная причина ея неизбежнаго увя-
грасть поднимаетъ человѣка на такую вы-
евныхъ настроеній и ожиданій, вызываетъ
такія нѣжныя, интимныя чувства, держится
тъ тонкихъ и хрупкихъ отношенійхъ, для
губительными оказываются легчайшія при-
я грубой дѣйствительности. А такія прико-
въ жизни неизбежны, и прежде всего и боль-
мы чувствуемъ ихъ отъ любимаго человѣка.
и страсть — какъ-будто не отъ міра сего. Какъ
кое произведеніе какой-то невѣдомой сферы,
ожетъ долго жить на землѣ; какъ лучезар-
меридъ, она слетаетъ къ человѣку только

на нѣсколько мгновеній... Психологическій процессъ увяданія страсти составляетъ, какъ мы уже сказали, основное содержаніе разсматриваемаго романа и проведенъ въ немъ съ обычнымъ мастерствомъ и правдивостью нашего художника.

Но что-же остается отъ семейнаго счастья?—«Съ этого дня кончился мой романъ съ мужемъ; старое чувство стало дорогимъ, невозвратнымъ воспомина-
ніемъ, а новое чувство любви къ дѣтямъ и къ отцу моихъ дѣтей положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила въ настоящую минуту...», такъ заканчиваетъ авторъ свое произведеніе, и показавъ намъ яркую картину паденія прежняго счастья, опускаетъ занавѣсъ передъ началомъ какого-то смутнаго, нераскрытаго счастья новой жизни.

VII.

„Война и Миръ“.

Справедливо было указано нашею критикою, что «Война и Миръ» графа Толстого есть явленіе безпримѣрное во всей литературѣ новаго времени. Сравнить это монументальное произведеніе можно только съ эпическими созданіями древности—съ Иліадой, Одиссеей или Нибелунгами. Только съ ними соизмѣрима «Война и Миръ» по широтѣ ея захвата, по универсальности ея содержанія: какъ и въ нихъ, въ ней отразилась вся жизнь народа въ извѣстную эпоху; какъ и въ нихъ, изображаемая жизнь раздвинута въ ней великими историческими событіями далеко за предѣлы ея спокойнаго, будничнаго, мирнаго теченія. Едва-ли можно указать такія возможности жизни, которыхъ-бы не коснулась эта грандіозная эпопея; едва-ли можно указать тотъ душевный мотивъ, то чувство, страсть, способность, тотъ складъ ума и характера, которыя-бы не были изображены словно всевѣдущимъ авторомъ. Лица разнообразнѣйшихъ положеній—отъ властелина полу-Европы, какимъ былъ

Наполеонъ, до послѣдняго нищаго; событія—отъ перваго пробужденія робкаго и нѣжнаго чувства въ душѣ молодой дѣвушки до громадныхъ и страшныхъ столкновеній многотысячныхъ массъ, каковы Аустерлицкое и Бородинское сраженія; нравственные проявленія личности—отъ сцены отвратительной борьбы алчныхъ наслѣдниковъ возлѣ постели умирающаго до истинно-человѣческой любви, до искренней жажды добра, до подвига несомнѣннаго героизма—все нашло себѣ мѣсто въ этой гигантской картинѣ, все нашло свой образъ, облеклось въ художественную, гармоническую, вѣчно-прекрасную форму. Невольно поражаешься этимъ богатствомъ творчества, этой неистощимостью поэтического вымысла, этимъ изумительнымъ всепониманіемъ автора и только въ этомъ произведеніи, только прочтя «Войну и Миръ», начинаешь постигать необыкновенную личность и великій-геній нашего писателя.

Но эпопея въ девятнадцатомъ вѣкѣ! Возможно-ли это? Всѣ извѣстныя намъ эпопеи древности слѣлись на зарѣ исторіи, въ періодъ дѣтства наро когда міросозерцаніе человѣка было просто, не и опредѣленно, когда категоріи добра и зла свались всѣми ясно и совершенно одинаково. Но возможна эпопея въ наше неимоверно усложнившееся и спутавшееся время, когда всякій народъ дробился на множество отдѣльныхъ группъ, едва способныхъ понимать другъ друга? Какому возрѣ подчинить художникъ свое творчество, въ какой обниметъ изображаемую имъ жизнь, когда п

рѣшенныхъ проблемъ мысли, столь-
главное, столько искусственныхъ си-
произвольныхъ, взаимно исключая-
цій? Выбрать идею условную и огра-
дъ партіи или доктрины, и извратить
кожественную правду своего произве-
дѣнія отъ всякой идеи, лишить
единства и создать только длинный
и слитыхъ сценъ и картинокъ—вотъ,
избѣжная альтернатива, ожидающая
умаль-бы въ наше время написать

, сравнивая «Войну и Миръ» съ эпи-
деніями древности, мы ясно видимъ,
на глубокое различіе въ ихъ содер-
махъ древняго и современнаго твор-
и Миръ» имѣетъ сходство съ упомя-
деніями не только по объему изобра-
ни или по богатству заключающагося
гвеннаго матеріала, но и сходство бо-
«Война и Миръ» также эпически вы-
цѣлостна и едина по своему духу.
якой фальши и художественной на-
армоническія созданія старины. Изо-
дъ жизнь и сложную душу людей де-
жа, Толстой съумѣлъ найти возрѣ-
ше современныхъ раздоровъ человѣ-
своею правдою покорившее себѣ всѣ
и провести это возрѣніе въ своемъ
азу не погрѣшивъ противъ требова-

ній искусства, не издавъ ни одного художественнаго диссонанса.

Въ чемъ-же сущность этого воззрѣнія? Вотъ вопросъ, которымъ предстоитъ намъ заняться въ настоящемъ очеркѣ, вопросъ тѣмъ болѣе для насъ интересный, что въ разсматриваемомъ романѣ мы можемъ искать уже не отрывочныхъ наблюденій и взглядовъ автора, но законченнаго и полнаго воззрѣнія на жизнь. Все, что прежде говорилъ графъ Толстой своими повѣстями и рассказами, всѣ разнообразныя и подчасъ даже противорѣчивыя мысли и настроенія, вызванныя въ немъ отдѣльными случаями жизни,—все это должно найти свое мѣсто, примириться и разъясниться въ томъ созерцаніи жизни, которое открывается намъ страницами «Войны и Мира».

Первое, въ чемъ уже сказывается отношеніе нашего художника къ дѣйствительности, есть та особая манера творчества, которая характеризуетъ его, какъ несомнѣннаго и послѣдовательнаго реалиста. Въ «Войнѣ и Мирѣ», какъ и во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ, графъ Толстой прежде всего стремится къ правдѣ. Изобразить дѣйствительную природу, дѣйствительныя возможности жизни, изобразить то, что есть, и избѣжать всего фантастическаго, выдуманнаго, ложнаго—вотъ постоянная цѣль и неизмѣнный принципъ его творчества. И онъ неуклонно, спокойно и безпощадно подчиняетъ этому принципу всѣ возникающіе въ его душѣ образы и не пускаетъ на страницы своихъ произведеній ни од-

ного изъ нихъ, несогласнаго съ правдою земной жизни. Онъ ничего не утаиваетъ изъ дѣйствительности и ничего не выдумываетъ, чего-бы не могло быть въ этой дѣйствительности. Показывая добро, счастье, красоту или величіе человѣка, онъ не забываетъ тутъ-же отмѣтить и то зло, страданіе, безобразіе и ничтожность, которыя связаны съ ними роковыми законами жизни. Всѣ свойства человѣческой природы, послужившія когда-либо основаніемъ идеаловъ, введены у него въ полную личность реального человѣка, слиты съ остальнымъ ея содержаніемъ, часто весьма непривлекательнымъ, невозможнымъ въ безукоризненномъ идеалѣ и неизбежно его разрушающимъ. Взгляните на героевъ «Войны и Мира», на тѣхъ людей, которыхъ авторъ заставилъ васъ любить, которыхъ онъ несомнѣнно самъ любитъ: между ними нѣтъ ни одного безупречнаго, ни одного свободного отъ чертъ низменной, противоидеальной стороны человѣческой природы. Пьеръ, несмотря на его доброту, на высокій полетъ его думъ и стремленій, своимъ слабымъ характеромъ привязанъ къ пошлой и беспорядочной жизни; Андрей Болконскій съ своимъ недюжиннымъ умомъ и благороднымъ характеромъ соединяетъ непріятную жесткость и сухость души; открытый, пылкій и честный Николай Ростовъ показанъ намъ человѣкомъ ограниченнымъ; прелестная, поэтическая, жизнерадостная Наташа должна почему-то заплатить дань грубой чувственности; княжна Мари Болконская дѣйствительно безгранично самоотверженна и чиста душой, но она

такъ некрасива, неграціозна и такъ запугана... О такихъ лицахъ, какъ Долоховъ, Анатоль и Эленъ, и говорить нечего. О нихъ можно сказать развѣ то, что они настолько-же не образцы зла и порока, насколько вышеупомянутыя лица не образцы добродѣтели. Въ Долоховѣ, этомъ сильномъ и жесткомъ эгоистѣ, авторъ открываетъ искреннюю и нѣжную любовь къ матери; Анато^{ль}-же и Эленъ такъ наивно и естественно развратны, что представляются какъ-бы совершенно невиновными и неотвѣтственными за это... Словомъ, во всемъ романѣ вы не найдете блестящихъ и грандіозныхъ идеаловъ, поражающихъ воображеніе, не найдете рыцарей безъ страха и упрека, страстей пламенныхъ и неудержимыхъ, не найдете блаженства неземного, страданій сверхчеловѣческихъ и тому подобныхъ иллюзій, которыми питалась поэзія романтическая. Въ этомъ отношеніи реализмъ графа Толстаго дѣйствительно безпощаденъ. Въ этомъ смыслѣ онъ дѣйствительно можетъ быть названъ отрицателемъ.

✂ Но мы глубоко-бы ошиблись, еслибы сказали, что духъ, разлитый въ романѣ, есть вообще духъ отрицанія. Не презрѣніемъ, не навистью, не насмѣшкою надъ чело^{вѣ}ческой жизнью вѣтъ со страницъ этого романа, но теплою любовью къ ней, признаніемъ ея могущества, ея захватывающей поэзіи. Только авторъ «Войны и Мира» любитъ дѣйствительную жизнь, любитъ землю, какъ ее создалъ Богъ, съ ея относительнымъ добромъ, съ ея ограниченнымъ счастьемъ, а не тѣ восторженные и экстатическія мечты, въ

жъ создалъ новыя міры, новую жизнь соты, сіяющаго счастья и непрехо-

Въ своемъ ясномъ и спокойномъ и графъ Толстой не могъ не видѣть фальши этихъ аффектированныхъ не удовлетворяли слѣпой паеосъ и правда романтической поэзіи; онъ не изираемую ею дѣйствительность, не я, пока не достигалъ полной правды бности.

льное отношеніе творчества графа антическимъ идеаламъ не есть его особенность; отношеніе это свой- вообще произведеніямъ истиннаго оря о немъ, мы не коснулись еще значенія, которое специально принад- и Миру» и отличаетъ этотъ романъ й одинаковаго съ нимъ направленія. атимся къ неособенно длинной исто- жественнаго реализма, то увидимъ. , у насъ отрицаніемъ и довольно успѣхомъ развивалъ только отри- зы. Попытки создать что-либо поло- льное, дѣлаемая время отъ времени никами-реалистами (Гоголь, Гонча- трѣчали протестъ и осужденіе и со я, и со стороны общества. Да это и наша и наше эстетическое чувство Ыли еще къ сферѣ блестящихъ и ловъ, завѣщанныхъ намъ романтиз-

момъ, чтобы мы могли найти что-нибудь доброе въ томъ презрѣнномъ Назаретѣ, какимъ представлялась намъ наша дѣйствительность.

Но если такъ было, то это не значить еще, что такъ и должно быть всегда. Художественный реализмъ по природѣ своей не ограниченъ только отрицательной потенціей: ему нисколько не чужды и положительныя задачи творчества. Онъ ставитъ художнику единственное условіе, чтобы его образы не противорѣчили правдѣ дѣйствительности. Весь вопросъ, слѣдовательно, въ томъ, возможно-ли идеальное въ природѣ, или иначе: способенъ-ли человѣкъ настолько полюбить дѣйствительную жизнь, настолько проникнуться ея красотою, чтобы, не украшая и не очищая ее, признать въ томъ или другомъ изъ ея проявленій удовлетворяющій его идеалъ? Самый бѣглый взглядъ на исторію литературы легко убѣждаетъ насъ, что общаго отвѣта нельзя дать на этотъ вопросъ. То или иное разрѣшеніе его обуславливается не общечеловѣческимъ содержаніемъ души, но тѣми своеобразными комбинаціями психологическихъ элементовъ, которыми опредѣляется типъ человѣка извѣстной націи, культуры или исторической эпохи. Уравновѣшенная натура древняго грека, умѣвшаго свободно и радостно пользоваться благами жизни, способна чувствовать и удовлетворяться прекраснымъ дѣйствительности; но суровый, аскетическій духъ среднихъ вѣковъ, стремящійся осуществить тѣ строгіе и чистые идеалы нравственности, которые возможны только въ мысли, всегда враждебно и отрицательно отно-

сился къ дѣйствительной, земной жизни. Европа позднѣйшаго времени, Европа восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка жила идеалами разума и воображенія. Это была эпоха страстной вѣры въ человѣка, эпоха раціональнаго антропоморфизма. Человѣкъ увлекался достигнутою имъ свободою духовной жизни, увлекался открывшимися ему мыслями, чувствами и настроеніями, которыя несли ему то наслажденіе, то страданіе, и подчиняясь этимъ субъективнымъ увлеченіямъ, невольно идеализировалъ ихъ внутренніе источники. Выразительницей этихъ-то увлеченій и явилась романтическая поэзія. Служа отголоскомъ личной жизни, она ставила себѣ только одно требованіе—искренность творчества, правду аффекта, какъ поэтическаго стимула, и затѣмъ въ этихъ предѣлахъ покорно отдавалась прихотливой игрѣ субъективныхъ настроеній. Она идеализировала всѣ силы и способности духа, дававшія содержаніе жизни человѣка въ ея эпоху, идеализировала не за ихъ добро или внутреннее достоинство, но потому, что человѣкъ жилъ и увлекался ими, да потому еще, что логика и воображеніе—ея постоянныя орудія—давали возможность къ этому. Дѣйствительно, что такое эти Фаусты, Вертеры, Донъ-Жуаны, Манфреды и Чайльдъ-Гарольды, Симурдены и Торквемады, какъ не идеализированныя возможности духа; и почему они—идеалы, какъ не потому только, что поэтическая фантазія съумѣла найти грандіозные образы для пережитыхъ человѣчествомъ состояній сомнѣнія, неудовлетворенности, разочарованія, фанатизма и т. п.? Отнимите

у нихъ это величіе, столь дѣйствующее на воображеніе, разрушьте абстрактную чистоту образовъ, уменьшите ихъ размѣры, и вы лишите ихъ всякаго обаянія, такъ какъ оно закрѣплено за ними исключительно ихъ эстетическимъ достоинствомъ. А между тѣмъ, вы должны это сдѣлать, если хотите быть вѣрными природѣ. Романтическіе образы не умѣщаются въ дѣйствительности: это типы другого міра, извлеченнаго, правда, изъ той-же дѣйствительности, но очищеннаго и преображеннаго поэтическимъ идеализмомъ. Понятно теперь, почему реализмъ, явившійся какъ-бы литературнымъ преемникомъ романтизма, долженъ былъ отнестись къ нему отрицательно. Поэты-романтики не изображали дѣйствительную жизнь, но создавали блестящую мечту жизни, въ которую страстно хотѣли уйти изъ бѣдной дѣйствительности. Реализмъ, стремящійся прежде всего къ правдѣ, не могъ не отвергнуть эти красивые образы въ силу ихъ призрачности, ихъ недѣйствительности.

Но съ чѣмъ-же остался самъ реализмъ, отвергнувшій прежніе идеалы? Чѣмъ онъ жилъ? Какъ онъ относился къ дѣйствительности?

Ограничивая наши вопросы сферою русскою литературы (потому, во-первыхъ, что въ русскихъ произведеніяхъ реализмъ нашелъ наиболѣе художественное выраженіе, и потому, во-вторыхъ, что мы не можемъ далеко отклоняться отъ нашей главной задачи), мы должны сказать, что, по справедливому замѣчанію Ап. Григорьева, въ первомъ изъ нашихъ

художниковъ-реалистовъ — въ Пушкинѣ — уже сказанъ поворотъ поэтического міросозерцанія. Пушкинъ уже можетъ любить дѣйствительную жизнь, можетъ поэтизировать скромныя картины родной природы, скромныхъ и простыхъ людей своей страны. Но рѣшить вопросъ объ основаніяхъ этой любви, о содержаніи новаго идеала по произведеніямъ Пушкина было-бы затруднительно. Тутъ-то и является передъ нами другой реалистъ съ своей великой эпопеей. Графъ Л. Н. Толстой не безразлично изображаетъ дѣйствительность. «Война и Миръ» не есть сплошное отрицаніе или сплошная идеализація жизни. Что-то такое раздѣляетъ эту жизнь, опредѣляетъ ваши чувства къ ней, властно заставляетъ васъ любить одно, презирать другое, сожалѣть о третьемъ. Вы не можете не любить Наташу, Пьера, Андрея Болконскаго, княжну Марью, стараго графа Ростова, даже Денисова, вы не можете полюбить Берга, Бориса Друбецкого, Анну Михайловну, Долохова, вы не можете не презирать Эленъ, Ипполита и Анатоля Курагиныхъ. Что-же руководитъ авторомъ въ его различныхъ отношеніяхъ къ жизни? Какимъ созерцаніемъ создана «Война и Миръ»? Мы сказали уже выше, что образы «Войны и Мира» не подкупаютъ нашего воображенія своимъ величіемъ или чистотою, что герои разсматриваемаго романа далеко не безупречны. Слѣдовательно, если мы все-таки симпатизируемъ нѣкоторымъ изъ нихъ, то единственно только за тѣ достоинства человѣка, которыхъ нельзя не любить. Авторъ вѣритъ въ существованіе вѣчнаго и

неизмѣннаго добра на землѣ, того добра, которое имѣетъ значеніе само по себѣ и не теряетъ своей цѣны оттого, что по неизбѣжнымъ законамъ дѣйствительности къ нему всегда примѣшаны нѣкоторыя черты безсилія и несовершенства. Любовь, доброта человѣка не становятся меньше, не тускнѣютъ оттого, что онъ некрасивъ, неловокъ, необразованъ, простоватъ, не силенъ волею и т. п. Человѣку дѣйствительно даны прекрасныя потенціи, человѣкъ дѣйствительно можетъ быть хорошъ, говоритъ графъ Толстой своей эпопеей и въ строго-объективномъ и замѣчательно правдивомъ изображеніи жизни заставляетъ почувствовать ея красоту.

Многимъ прельщаются и увлекаются люди: ихъ манятъ къ себѣ и богатство, и роскошь, и слава, и власть, и чувственное наслажденіе—все это идолы, которымъ приносятся на землѣ обильныя жертвы. Прекрасно знаетъ это нашъ сердцеѣдъ-художникъ и въ широко-развернутой передъ нами картинѣ людскихъ страстей и увлеченій показываетъ ихъ узкій, эгоистическій характеръ неспособный удовлетворить и успокоить человѣческую душу; надъ этими цѣлями и безконечно выше ихъ, какъ несомнѣнное благо, какъ достойное содержаніе идеала, онъ ставитъ жизнь по естественнымъ влеченіямъ сердца къ добру и правдѣ, сознаніе которыхъ никогда не изсякаетъ въ душѣ человѣка. Посмотрите на толпы одержимыхъ какою-либо изъ упомянутыхъ эгоистическихъ страстей, посмотрите на этого князя Василія, Анну Михайловну, Бориса, Анатоля, Эленъ, на этихъ Бениг-

ювъ, Барклаевъ, Ростопчиныхъ—
чные мученики своихъ страстей,
ины и развѣ испытываемыя ими
и довольства могутъ сравняться съ
исокаго счастья, которое доступно
остову, княжнѣ Маріи или Наташѣ?
на значительно поднимается тѣмъ
что въ него введены два ли-
но широкимъ діалазономъ души—
й и Пьеръ. Съ перваго появленія
среди тщеславнаго и искусствен-
го общества, Андрей Болконскій
е вниманіе тѣмъ видомъ скуки
ности, который свидѣтельствуешь
его душѣ иныхъ стремленій и за-
редъ нами раскрывается эта душа
ею владѣетъ жажда славы, жажда
[аканунѣ Аустерлицкаго сраженія,
зостью опасности и давно ожидае-
а подвига, Андрей думаль:—«Я не
потомъ, не хочу и не могу знать;
го, хочу славы, хочу быть извѣст-
чу быть любимымъ ими, то вѣдь я
хочу этого, что одного этого я хо-
го я живу. Да, для одного этого.
у не скажу этого, но Боже мой!
ь, ежели я ничего не люблю, какъ
овъ людскую. Смерть, раны,—ни-
лно. И какъ ни дороги, ни милы
отецъ, сестра, жена—самые доро-

гіе мнѣ люди; но какъ ни страшно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ нуту славы, торжества надъ людьми, за лк себѣ людей, которыхъ я не знаю и не буду. Послѣ позорно проигранной Аустерлицкой битвы, послѣ полученной здѣсь раны, послѣ смерти жандарма Андрея закрылись всѣ радости жизни и осталась одна обнаженная необходимость эгоистическаго существованія, да холодные интересы умнаго житья по своему, говорить онъ теперь посѣтившему его въ деревнѣ:—ты жилъ для другихъ, что этимъ чуть не погубилъ свое счастье, а узналъ счастье только тогда, когда стало для другихъ. А я испыталъ противоположное. Я жилъ для славы (вѣдь что-же слава? та-же любовь, гимнъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, не ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И теперь сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя!

«— Да какъ-же жить для одного себя!—»
Часъ спросилъ Пьеръ.—А сынъ, а сестра, а

«— Да это все тотъ-же я, это не другіе. Я жилъ князь Андрей,—а другіе ближніе, тебѣ какъ вы съ княжной Марьей называете, а не истинный источникъ заблужденія и зла».

Любовь къ Наташѣ снова возвратила князя къ жизни, снова возвратила ему «счастье, свѣтъ». Но исключительная любовь къ одной личности—непрочная опора. Увлечшись вспышкой страсти къ Анатолю

избила возникающій въ душѣ Андрея адостной, свѣтлой жизни. Онъ снова кимъ и безучастнымъ зрителемъ жилось существованіе безъ радости, безъ опять не былъ раненъ и пока при-смерть не открыла ему новаго, вѣчнаго ни отъ какихъ случайностей смы-остраданіе, любовь къ братьямъ, къ лю-въ къ ненавидящимъ насъ, любовь къ и любовь, которую проповѣдывалъ Богъ орой меня учила княжна Марья и ко-нималъ; вотъ отчего мнѣ жалко было но то, что еще оставалось мнѣ, ежели-ивъ. Но теперь уже поздно. Я знаю князь Андрей, лежа раненый въ госпи-а стоны недавняго врага своего Ана-

юслѣднее настроеніе князя Андрея не дозволитъ. Это вѣдь уже не жизнь. ли и чувства умирающаго, и не эти отвѣтъ на вопросъ о раскрываемомъ лѣ жизни. Болѣе поучительна въ этомъ цѣба Пьера. Духовная сторона преоб-берѣ еще очевиднѣе, чѣмъ въ Болкон-дѣятельно и неотступно искалъ прав-чился каждымъ ложнымъ поступкомъ залъ и томился пустою и безотрадною лѣ рядъ этихъ исканій показываетъ показываетъ увлеченіе Пьера масон-антропіей, стремленіе его забыться въ

разсѣяніи свѣтской жизни, его надежду удовлетво-
риться невысказанной, нераздѣленной любовью къ
Наташѣ, его обращеніе къ подвигу самопожертвова-
нія, когда для спасенія Россіи онъ задумалъ убить
Наполеона. Исканія эти не дали ему желаемого успо-
коенія и «согласія съ самимъ собою», обманули его.
И только попавъ въ плѣнъ къ французамъ, только
пройдя черезъ ужасъ смерти и всевозможныя лише-
нія, онъ получилъ наконецъ внутреннее спокойствіе
и довольство жизнью. Учителемъ, открывшимъ ему
новый путь къ счастью, былъ товарищъ его по плѣ-
ну, нищій и простой солдатъ, Платонъ Каратаевъ—
эта олицетворенная стихія русскаго народнаго духа.
Переживъ и переработавъ то, что открылось ему въ
Каратаевѣ, Пьеръ понялъ смыслъ и радость жизни.
«Отсутствіе страданій, удовлетвореніе потребностей
и вслѣдствіе того свобода выбора занятій, т. е. образа
жизни, представлялись теперь Пьеру несомнѣннымъ
и высшимъ счастьемъ человѣка»... «То самое, чѣмъ
онъ прежде мучился, чего онъ искалъ постоянно, цѣли
жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая
цѣль жизни теперь не случайно не существовала для
него только въ настоящую минуту, но онъ чувство-
валъ, что ея нѣтъ и не можетъ быть. И это-то отсут-
ствіе цѣли давало ему то полное, радостное сознаніе
свободы, которое въ это время составляло его счастье».
«Онъ не умѣлъ видѣть прежде великаго, непости-
жимаго и безконечнаго ни въ чемъ. Онъ только
чувствовалъ, что оно должно быть гдѣ-то, и искалъ
его. Во всемъ близкомъ, понятномъ, онъ видѣлъ одно

ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Онъ вооружался умственной зрительной трубой и смотрѣлъ въ даль, туда, гдѣ это мелкое житейское, скрываясь въ туманной дали, казалось ему великимъ и безконечнымъ оттого только, что оно было неясно видимо. Такимъ ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философія, филантропія. Но и тогда, въ тѣ минуты, которыя онъ считалъ своей слабостью, умъ проникалъ и въ эту даль, и тамъ онъ видѣлъ тоже мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь-же онъ выучился видѣть великое, вѣчное и безконечное во всемъ, и потому естественно, чтобы видѣть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросилъ трубу, въ которую смотрѣлъ до сихъ поръ черезъ головы людей, и радостно созерцалъ вокругъ себя вѣчно измѣняющуюся, вѣчно великую, непостижимую и безконечную жизнь. И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ, тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ».

Вотъ въ чемъ состоялъ великій переворотъ, совершившійся въ душѣ Пьера, и вотъ та высшая точка, съ которой авторъ романа созерцаетъ чело-вѣческую жизнь. Это созерцаніе его называютъ нерѣдко фатализмомъ, поклоненіемъ слѣпымъ силамъ природы, полнымъ санкціонированіемъ дѣйствительности... Не вступая здѣсь въ споръ о словахъ, можно согласиться, пожалуй, что міросозерцаніе графа Толстого проникнуто фатализмомъ и поклоненіемъ природѣ—въ томъ смыслѣ, что, образовавъ душу чело-вѣка, она предопредѣлила для него всѣ возможности счастья и что другого счастья, кромѣ дарованнаго

ему природой, человекъ не можетъ достигнуть, несмотря на свой свободный умъ и дѣятельную волю. Но если человекъ не можетъ выдумать себѣ новаго счастья, то освободившись черезъ сознаніе отъ власти природы, онъ имѣетъ полную возможность погубить данное ему счастье. Какъ есть одинъ только моментъ равновѣсія, такъ возможно одно только положеніе человека въ природѣ, при которомъ существованіе его становится гармоническимъ, при которомъ онъ можетъ быть счастливъ. Каждому человеку положеніе это указываетъ внутренній голосъ живущей въ немъ природы, голосъ совѣсти, выражающійся въ тѣхъ состояніяхъ тревоги и спокойствія, которыми сопровождается каждое сознательное его дѣйствіе; но подчиниться этому голосу съ тѣхъ поръ, какъ освободившійся духъ человека создалъ цѣлый міръ произвольныхъ цѣлей и нормъ дѣйствія, — подчиниться сознательно и добровольно этой разрушенной власти природы сдѣлалось необыкновенно трудно, и человекъ началъ свое историческое блужденіе вокругъ закрывшейся для него правды жизни и недоступнаго ему счастья. Все это глубоко понималъ авторъ «Войны и Мира»; эта идея составляетъ органическую часть его міросозерцанія, и потому никакъ нельзя сказать, чтобы онъ безразлично санкционировалъ все содержаніе дѣйствительности. Мы уже видѣли, въ какомъ различномъ освѣщеніи представляетъ онъ различныя возможности жизни, и какъ неодинаково заставляетъ насъ относиться къ изображаемымъ имъ лицамъ. Всѣ эти лица съ точки зрѣ-

идеи могут быть распределены по
б. Къ первой относятся люди, давно
отъ природы и до того ушедшіе въ
внѣшнія цѣли, что имъ некогда прислу-
шусь своей совѣсти, что они не хотятъ
всячески стараются заглушить его
пниимъ движеніемъ жизни. Сами они
да, страдаютъ, зато жизнь ихъ сплош-
устота. Сюда принадлежитъ прежде
въ которомъ противоестественное
нѣческое стремленіе достигло высо-
о напряженія и въ которомъ нашъ
глубокое помраченіе ума и совѣ-
, его генералитетъ; сюда-же входитъ
ербургское общество, салоны m-me
въ съ ихъ аббатами, посланниками,
няземъ Василиемъ, Анатолемъ, Дру-
Вторую группу образуютъ лица того
ни, того-же положенія, что и первые,
существенною разницею, что они
жны своимъ положеніемъ, что они
стующій голосъ своей души и мучи-
выхода къ правдѣ. Это — Пьеръ и
скій, это какъ-бы звено между первой
пой, какъ-бы формирующійся потокъ,
ля можетъ перелиться въ послѣднюю,
ую власти природы и состоящую изъ
которые сражались за свою родину
мъ,—изъ Платона Каратаева и дру-
мною крестьянской массы. Къ этому.

же разряду лицъ сталъ принадлежать и Пьеръ послѣ того, какъ открылся ему новый смыслъ жизни. Пьеръ дѣйствительно нашелъ свое счастье, женившись на Наташѣ и основавъ себѣ семью. Его семейная жизнь не отличалась какимъ либо особымъ изяществомъ, поэтичностью отношеній между мужемъ и женой; это была обыкновенная семья со всѣми ея естественными принадлежностями—съ дѣторожденіемъ, кормленіемъ дѣтей и хлопотливымъ уходомъ за ними, съ опустившеюся и погруженную въ тысячу мелкихъ и прозаическихъ заботъ женою-матерью, съ привычною и необходимою любовью другъ къ другу. Такая семья можетъ дать счастье человѣку, говоритъ авторъ, такъ какъ видитъ въ ней одно изъ проявленій той правды жизни, которая составляетъ сущность его идеала.

До сихъ поръ мы говорили только о мирѣ и о жизни обычной. Но авторъ эпопеи показалъ намъ и событія другого порядка, другихъ размѣровъ, событія историческаго значенія. Какою же внутреннею связью соединены эти изображенія различныхъ порядковъ жизни, зачѣмъ понадобилось автору для раскрытія своего міросозерцанія коснуться исключительныхъ событій исторіи? Отвѣтомъ можетъ служить только указанная идея о томъ, что великое, вѣчное жизни, способное удовлетворить человѣка, существуетъ не въ дали гдѣ-нибудь, не въ тайнахъ грандіозныхъ событій, но вездѣ и во всемъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно было взять изъ человѣческой жизни что-либо несомнѣнно великое, несомнѣнно героическое и показать,

уетъ тотъ-же обыкновенный чело-
стоить изъ моментовъ столь-же
венныхъ человѣку, какъ и обыч-
, что и оно покорно общимъ и
амъ человѣческой жизни и счастья.
дѣлалъ. Едвали во всей нашей
ь крупнѣе отечественной войны
юпеѣ графъ Толстой и даетъ намъ
спроизведеніе этого факта, пред-
ценахъ и лицахъ, и лица эти не
/ него тѣми же обыкновенными
казывалъ онъ намъ во время ми-
солдаты, тѣ-же офицеры и гене-
товъ, Денисовъ, Болконскій, Ти-
и обыкновенные люди, въ то-же
е герои, такъ какъ дѣло, совер-
твительно великое дѣло.

и высшія блага жизни — не въ
блестящихъ и грандіозныхъ ея
въ скромномъ и простомъ счастье,
овлетвореніи естественныхъ, об-
ютребностей. Истинный героизмъ
расотѣ формы и внѣшнемъ вели-
ь и въ обыкновенномъ человѣкѣ,
илъ малъ и простъ, какъ бы онъ
ичень... Вотъ къ какому выводу
истого его безстрашно-правдивое
Онъ не побоялся сочетать героя-
имъ и ихъ эстетическій антаго-
имирить въ томъ мужественномъ

и глубокомъ чувствѣ, которое умѣетъ цѣнить добро и нравственную красоту ради ихъ собственнаго достоинства и не смотря на неизбежную примѣсь къ нимъ чертъ обычной человѣческой мелочности и ограниченности.

Событіямъ войны посвящено еще въ романѣ довольно много страницъ историко-философскаго содержанія. Но мы не будемъ на нихъ останавливаться, потому, во-первыхъ, что между художественнымъ содержаніемъ романа и философскими взглядами автора нѣтъ органической связи, и во-вторыхъ потому, что настоящій очеркъ нашъ отнюдь не претендуетъ на полноту критической оцѣнки романа. Полная критика «Войны и Мира» есть крупная задача и потребовала-бы весьма обширной работы. Въ настоящемъ-же очеркѣ мы имѣли въ виду показать только основныя черты того созерцанія жизни, которое выразилось въ «Войнѣ и Мирѣ».

VIII.

„Анна Каренина“.

И все, что вышло изъ подъ пера графа Л. то, романъ «Анна Каренина» отличается самостоятельностью творческихъ мотивовъ и съ преобладаніемъ интереса къ вѣчному и вѣческому надъ временнымъ и случайнымъ. На то, что романъ этотъ писался во время почти увлеченія социальными вопросами, вписанъ тогда политическими событіями. Онъ лишь касается этихъ—уже минувшихъ—и развиваетъ иную тему, чуждую этимъ отвѣчающую только «любимымъ думамъ» юра. Въ глазахъ критики того времени, это винимымъ недостаткомъ. Словно пораженной, критика эта ничего не способна была въ романѣ, кромѣ «великосвѣтскихъ аму-самодурства барской праздности»... Но не же и десяти лѣтъ, а эти мнѣнія критики забыты и покоются гдѣ-то въ пыли жур архивовъ, тогда какъ «любимыя думы»

автора, получившія въ романѣ свое художес-
выраженіе, приобрѣтають все большій и больш-
ресъ, все больше и больше вырастають въ
значеніи. Онѣ проникли уже въ мысли и серд-
теля и вызвали въ немъ то состояніе эстети-
восторга, которымъ человѣкъ не разучился о-
чать на явленія истины и красоты. Такимъ
гомъ переполнена, напимѣръ, критическая
покойнаго М. С. Громеки, написанная съ сер-
отношеніемъ къ предмету и съ рѣдкою въ наш
широтою взгляда.

«Анна Каренина» — уже не то безбреж-
жизни, которое открывается намъ въ «Войнѣ и
это уже не народная эпопея, но болѣе при-
намъ литературное произведеніе съ ограни-
сферою изображенія, съ опредѣленнымъ кругомъ
съ опредѣленнымъ и сконцентрированнымъ
емъ. Впрочемъ, все это можно сказать только по-
нію съ «Войною и Миромъ»; при сопоставленіи
съ другими романами «Анна Каренина» я
произведеніемъ выдающимся по богатству
нообразію содержанія, по множеству вывед-
лицъ, по обилію эпизодическихъ сценъ и я-
Даже дѣйствіе въ «Аннѣ Карениной» тяготеетъ
одному центру, но развивается двумя параллель-
и почти самостоятельными фабулами. Несмотря
это, романъ не производитъ двойственного впе-
нія, не кажется искусственнымъ соединеніемъ
различныхъ и ненужныхъ другъ другу инци-
человѣческой жизни. Вы чувствуете въ немъ

то глубокое внутреннее единство, вполне удовлетворяющее васъ, и самую раздвоенность фабулы замѣчаете только изъ внѣшняго анализа романа, только путемъ логическихъ умозаключеній. Почему это? Что придаетъ роману это непосредственно сознаваемое въ немъ единство?

Выше мы имѣли уже случай замѣтить, что во всѣхъ произведеніяхъ своихъ гр. Толстой старался постигнуть законы человѣческой жизни, что имъ неотступно руководилъ интересъ раскрыть судьбу человека, уловить дѣйствительныя возможности и необходимости его земного жребія. Въ рассматриваемомъ романѣ авторъ остался вѣренъ тому же интересу, но здѣсь онъ глубже чѣмъ когда-либо заглянулъ въ тайны человѣческой судьбы и ярче чѣмъ гдѣ-либо представилъ зависимость человѣческаго счастья отъ вѣчныхъ и непреодолимыхъ законовъ природы. Своимъ романомъ онъ словно открылъ передъ нами окно, черезъ которое мы увидали таинственный міръ силъ, управляющихъ жизнью, увидали нѣчто неизмѣнное и безконечное, проявляющееся въ конкретныхъ и какъ-бы случайныхъ событіяхъ, увидали природу-судьбу, природу-Немезиду съ ея грознымъ закономъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ!». Читая романъ, мы чувствуемъ присутствіе этихъ вѣчныхъ и роковыхъ силъ жизни, чувствуемъ, какъ, подчиняясь имъ, складывается его дѣйствіе,—и вотъ эта-то властная, всемогущая рука судьбы, ведущая человека, этотъ скрытый, но несомнѣнный дѣятель романа и придаетъ ему то внутреннее единство, которое застав-

ляетъ насъ видѣть во всѣхъ персонажахъ его—брошеннаго на землю и покорнаго ея власти человѣка, а во всѣхъ положеніяхъ и коллизіяхъ — predetermined возможности и необходимости человѣческой жизни. Но то великое и вѣчное, что показываетъ намъ графъ Толстой, не есть слѣпая судьба, или рокъ древнихъ; таинственные Парки прядутъ у современнаго художника не жизненные нити каждой конкретной личности, но нити общихъ, абстрактныхъ законовъ, опутывающихъ жизнь человѣческую и неизмѣнно примѣняющихся относительно всякаго человѣка. Древніе представляли судьбу человѣка, какъ необходимый для него рядъ непостижимыхъ случайностей; въ изображеніи нашего художника, судьба—случайно наступившій рядъ необходимостей. Эдипъ убилъ отца и женился на матери, потому что ему именно это было predetermined, потому что отъ судьбы своей не уйдешь; Анна Каренина могла не погибнуть, могла-бы прожить если не счастливо, то спокойно; но отдавшись своей страсти и пожертвовавъ для нея всѣмъ, она должна была погибнуть.

Анна Аркадьевна Облонская молоденькой дѣвушкой выдана была замужъ за Алексѣя Александровича Каренина. Живое, личное чувство не играло никакой роли въ этомъ супружествѣ. Тетка выдала Анну за Каренина, находя почему-то эту партію выгодною. Восемь лѣтъ прожила Анна съ своимъ мужемъ, прожила мирно, спокойно, однообразно, дѣля свое время между свѣтскими удовольствіями и заботами о сынѣ. Полная силъ, молодая, красивая,

жаждущая еще неизвѣданнаго ею счастья, Анна не могла быть удовлетворена тою жизнью, которую давалъ ей мужъ — этотъ умный и безукоризненно честный, но сухой педантъ, убившій въ себѣ всякое чувство и автоматически-правильно движущійся въ жизни подѣ дѣйствиємъ исключительно умственного механизма идей, сознанныхъ обязанностей и задачъ. Не разразись драма, Анна могла бы завянуть и засохнуть въ этой жизни. И это была бы жертва, и это было бы возмездіе судьбы—обидная жертва молодого счастья въ угоду какимъ-то постороннимъ, фальшивымъ расчетамъ, возмездіе за произвольное нарушеніе естественныхъ правъ и стремленій человѣческой природы... Но случай сулилъ иное. Дорогою изъ Петербурга въ Москву Анна встрѣтилась съ молодымъ, красивымъ офицеромъ, графомъ Вронскимъ. Вотъ какъ описываетъ авторъ эту первую встрѣчу. «Блестящіе, казавшіеся темными отъ густыхъ рѣсницъ, сѣрые глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лицѣ, какъ будто она признавала его, и тотчасъ-же перенеслись на проходящую толпу, какъ-бы ища кого-то. Въ этомъ короткомъ взглядѣ Вронскій успѣлъ замѣтить сдержанную оживленность, которая играла въ ея лицѣ и порхала между блестящими глазами и чуть замѣтной улыбкою, изгибавшею ея румяныя губы. Какъ будто избытокъ чего-то такъ переполнялъ ея существо, что мимо ея воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ». Электрическая искра страсти уже передалась этимъ взглядомъ изъ души Карениной въ

душу Вронскаго, и несознанныя еще узы взаимнаго чувства уже связали ихъ. Они уже ищутъ другъ друга, уже необходимы одинъ для другого. Еще двѣ-три встрѣчи — и господство страсти надъ ними уже обезпечено. Приѣхавъ въ Петербургъ къ мужу, Анна чувствуетъ, что прежняя жизнь не можетъ ее удовлетворить, чувствуетъ пустоту и скуку. Свѣтская жизнь позволяетъ ей продолжать начавшіяся отношенія съ Вронскимъ, и страсть ихъ гигантскими шагами идетъ къ развязкѣ. Но не радость принесло это чувство Аннѣ. Оно сталкивалось со всѣмъ строемъ ея прежней жизни и коллизія эта была непримирима: что-нибудь должно было погибнуть. Положеніе между мужемъ и любовникомъ, съ необходимымъ обманомъ, съ презрѣніемъ къ себѣ, глубоко возмущало искреннюю и чистую натуру Анны. Случай ускорилъ объясненіе. На скачкахъ въ Царскомъ Селѣ Вронскій упалъ съ лошади. Анна съ мужемъ сидѣла въ бесѣдкѣ. Страхъ за любимаго человека выдалъ ее, и, возвращаясь домой въ каретѣ, она во всемъ призналась мужу. Со стороны его не послѣдовало ни сцены ревности, ни вспышки оскорбленнаго чувства; онъ позаботился только о приличіяхъ, о мнѣніи свѣта, и желалъ, чтобы все оставалось по-прежнему. Мучительное состояніе продолжалось. Мучились всѣ трое, и каждый по своему надеялся, что скоро все измѣнится. Но любовь къ сыну и какой-то непреодолимый страхъ стать открыто въ положеніе любовницы мѣшали Аннѣ согласиться на окончательный разрывъ съ мужемъ, чего такъ сильно

Побуждаемый желаніемъ восстано-
вительства честь своего имени и вмѣ-
ститъ своей женѣ за весь позоръ и
ему страданія, Алексѣй Алексан-
скаго исхода изъ своего положенія
разводѣ, рѣшивъ отнять сына у
произошло событіе, перемѣшавшее
юшенія. Анна родила и послѣ ро-
дѣла. Вронскій (отецъ новорожден-
и постели. Пріѣхалъ Алексѣй Алек-
тъ между этими тремя людьми, свя-
ми отношеніями любви, ненависти и
шла поразительная сцена взаимнаго
ренія. Алексѣй Александровичъ про-
тотъ сухой, жесткій человѣкъ про-
тѣлъ ее за ея страданія и раскаяніе,
му, чувствовалъ себя совершенно спо-
идѣлъ въ своемъ положеніи ничего
ничего такого, что-бы нужно было
ѣвшиль не разлучаться съ женою. Но
да, и вмѣстѣ съ возвращеніемъ силъ
нѣ и прежняя страсть къ Вронско-
вращеніе къ мужу. Что-то роковое
изнь и, противъ воли участвующихъ
жло ихъ къ неизбежной, фатальной
ка должна было наступить, но раз-
э такъ, чтобы всѣ были спокойны
обы не было страдающихъ, не было
съ уже невозможнымъ. Нравствен-
ни уже былъ нарушенъ и наступали

трагическія послѣдствія этого нарушенія. Алексѣй Александровичъ соглашался, правда, на разводъ, соглашался даже отдать сына и принять на себя вину въ бракоразводномъ процессѣ, но воспользоваться этимъ великодушіемъ мужа, обрушить всю тяжесть и весь позоръ положенія на голову ни въ чемъ невиновнаго человѣка—это было невозможно для той гордости и деликатности, которыми была надѣлена Анна. Разводъ безъ сына также не могъ удовлетворить ее. Жить въ разлукѣ было невыносимо для Вронскаго и для Анны. Выбрали компромиссъ: «Алексѣй Александровичъ остался одинъ съ сыномъ на своей квартирѣ, а Анна съ Вронскимъ уѣхала за границу, не получивъ развода и рѣшительно отказавшись отъ него». Приѣхавъ въ Италію, Анна чувствовала себя первое время «непростительно счастливою и полною радости жизни». Она упивалась своею свободою и своею страстью. Но долго жить одною страстью человѣкъ не можетъ. Анна же съ Вронскимъ со всѣмъ порвали и цѣликомъ ушли въ свое чувство. Скоро имъ показалось скучно и пусто въ итальянскомъ городѣ и они рѣшили ѣхать въ Россію. Въ Петербургѣ имъ открылась новая сторона ихъ положенія: свѣтъ былъ закрытъ для нихъ. Свѣтъ готовъ былъ принять Вронскаго, но не допускалъ возможности впустить въ свой кругъ Анну. Для Вронскаго это было и оскорбленіемъ, и серьезнымъ лишеніемъ. Что-то уже поднималось между нимъ и Анной. Отвергнутая обществомъ, разлученная съ любимымъ сыномъ, Анна чувствовала, что единственная опора ея,

ожность для нея жизни—въ любви
о-же время ужасная мысль о воз-
этой любви уже проносила не-

уѣхали въ деревню. Въ деревнѣ
, нанесенную имъ свѣтомъ, и Врон-
нѣкоторое удовлетвореніе своему
и роли крупнаго землевладѣльца и
которая открылась ему въ уѣздѣ.
ля имъ все какъ-то не удавалось
въ семейный тонъ жизни. Что-то хо-
е чувствовалось въ окружающей
-то невозможное въ семейномъ быту
ь отношеніяхъ къ Аннѣ ихъ исклю-
о общества. Анна не входила сама
ного времени отдавала дочери и си-
ималась собой, хватаясь за свою
единственное средство сохранить для
ей любовь Вронскаго. Естественно
шла она къ циническому рѣшенію
дѣтей, рожденіе которыхъ должно
непривлекательною для Вронскаго.
ны было еще одно мученіе — не-
гъ при себѣ сына, невозможность
ей жизни тѣ два существа, безъ ко-
ча быть счастлива. Вронскій, столь
ертвовавшій съ своей точки зрѣнія
, вознаградить себя новыми отно-
и, новыми удовольствіями; обладая
ился расширить сферу своей жизни.

Анна-же, дышавшая только его любовью, во всѣхъ новыхъ знакомствахъ, планахъ и предпріятіяхъ своего Алексѣя видѣла только личныхъ враговъ, отнимающихъ его у нея. Она томилаь и страдала самыми мрачными подозрѣніями во время его отсутствія, выдумывала способы, какъ-бы поскорѣй вернуть его, осыпала его упреками при возвращеніи, устраивала сцены ревности. Отказавшись прежде отъ развода, теперь она уступила убѣжденіямъ Вронскаго и послала мужу письмо съ просьбой о разводѣ. Въ ожиданіи отвѣта, они пріѣхали въ Москву. Но перемѣна мѣста не исправила дѣла. Анна хотѣла невозможнаго. Она желала безконечнаго продолженія того блаженства, того упоенія, которое страсть давала ей прежде. Весь смыслъ, все счастье жизни сосредоточились для нея въ этой страсти. Но страсть, та чувственная, самолюбивая страсть, которую Анна питала къ Вронскому, неспособна выдержать тяжести жизни, въ особенности той жизни, какой требовала гордая и богато-одаренная натура Анны. Это зданіе, построенное вопреки всѣмъ законамъ природы, этотъ роскошный дворецъ, возведенный на песчаномъ фундаментѣ, неизбѣжно долженъ былъ развалиться, — и жизнь Анны развалилась дѣйствительно.

Съ изумительнымъ мастерствомъ и глубокимъ пониманіемъ человѣческаго сердца изображаетъ авторъ ту душевную драму, тотъ процессъ все возрастающаго отчаянія, которымъ подтачивалась жизнь Анны. Жизнь эта уже вполнѣ опредѣлилась. Наступало время неотвратимыхъ, роковыхъ послѣдствій давно

пережитого прошлаго. Ничего не совершилось новаго, не произошло никакихъ внѣшнихъ переменъ, но ревнивая любовь Анны всюду создавала фантомы опасностей, во всемъ видѣла страшные признаки охлажденія къ ней Вронскаго. Съ свойственною отчаявшейся любви жестокостью, она старалась мучительными сценами дотронуться до чувствительнаго мѣста въ его душѣ, прозондировать эту душу, и изъ вспышекъ того раздраженія и пробивающагося озлобленія противъ нея, которыми онъ, случалось, отвѣчалъ на ея сцены, она все болѣе и болѣе убѣждалась, что любовь его къ ней исчезаетъ. Обыкновенно каждая размолвка ихъ кончалась примиреніемъ. Но однажды, выведенный изъ терпѣнія безпричинною и рѣзко-враждебною выходкой Анны, Вронскій уѣхалъ, не сказавъ того слова любви, котораго она отъ него хотѣла. Отчаяніе и какой-то непонятный страхъ охватили Анну. Она заметалась, чтобы вернуть его. Но записка ея не застала Вронскаго, на телеграмму же получился короткій отвѣтъ, что раньше десяти часовъ онъ вернуться не можетъ. Все показалось погибшимъ для Анны въ этомъ равнодушномъ отвѣтѣ телеграммы, и смерть представилось ей единственнымъ исходомъ и подходящимъ средствомъ отомстить Вронскому... На нее нашло какое-то холодное ясновидѣніе, когда она ѣхала на вокзалъ, чтобы еще разъ повидать его. «Моя любовь все дѣлается страстнѣе и себялюбивѣе, а его гаснетъ и гаснетъ, и вотъ отчего мы расходимся», продолжала думать она. «И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ

есть больше и больше отдавался мнѣ. А онъ все больше и больше хочетъ уйти отъ меня. Мы именно шли навстрѣчу до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измѣнить этого нельзя». Получивъ на станціи записку Вронскаго, показавшуюся ей небрежною и холодною, Анна почувствовала, что все для нея кончено. Какая-то непреодолимая, слѣпая сила овладѣла ею и повела ее на смерть. «Туда! говорила она себѣ, глядя въ тѣнь вагона, на смѣшанный съ углемъ песокъ, которымъ были засыпаны шпалы,—туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь отъ всѣхъ и отъ себя». И она умерла ужасною смертью самоубійцы.

Въ трагической кончинѣ Анны многіе у насъ увидѣли кару, которой авторъ подвергъ свою героиню за измѣну супружескому долгу, и согласно такому взгляду весь романъ объявили проповѣдью узкой моралистической идеи. Близорукій взглядъ! Это значитъ—не видѣть ничего дальше поверхности, дальше внѣшняго дѣйствія, дальше тѣхъ квалификацій, которыя авторъ даетъ своимъ персонажамъ, говоря: это—мужъ, это—жена, это—любовникъ и т. д. Концепція романа несравненно глубже. Творчество графа Толстого чуждо какого-бы то ни было условнаго кодекса; оно опирается не на доктрины и системы, но на самую природу вещей. Всматриваясь въ духовный міръ человека, слѣдя за нимъ на путяхъ открытаго ему счастья, авторъ «Анны Карениной» понялъ, что этотъ міръ — не міръ произвола, что счастье человека,—сложнѣйшій и хрупкій продуктъ многихъ необходи-

И. Онъ понялъ существованіе вѣчныхъ, къ волею человѣка, законовъ нравствен-
ныхъ, какая трудная задача дана каждо-
сти, подѣ дѣйствіемъ этихъ законовъ
у своего счастья. Онъ видѣлъ, какъ
бѣ расплескиваетъ и разбиваетъ эту
чашу, какъ легкомысленно пренебре-
женіями совѣсти, этого непогрѣшимаго
женнаго природою въ его душу, съ ка-
й гонится за призраками счастья, съ ка-
зніемъ и гордостью сознательно отказы-
правъ своего человѣческаго «первород-
чечевичной похлебки» минутныхъ на-
Онъ видѣлъ много блуждающихъ, без-
щихся и падающихъ — и онъ показалъ
молодой и прекрасной жизни, вызванную
законовъ объемлющей насъ природы,
, которая ничего не прощаетъ, ничего
ь, а спокойно и безстрастно совершаетъ
мездія.

ьно и комично было-бы навязывать при-
, воспреещающій женѣ бросать своего
ы чувствуемъ глубокую правду словъ
а онъ говоритъ намъ, что человѣкъ, опу-
вою душу и опершійся въ своей жизни
на себялюбивое наслажденіе, губить свое
а погибла не потому, что оставила мужа,
то въ предстоявшемъ ей выборѣ она
ть, исключаящую для нея возможность
ія болѣе спокойныхъ и прочныхъ при-

изанностей. Отдавшись страсти, она должна была отказаться отъ всѣхъ прочихъ источниковъ счастья. Жить одною чувственною страстью невозможно же потому, что такая страсть долго длиться не можетъ.

Не все, однако, на землѣ слезы и страданія, не все трагедія. Встрѣчается и тихая улыбка счастья, и радость, возможна на землѣ и идиллія. Загляните въ Покровское, деревню Левина, и вы увидите несомнѣнную идиллію. Увидите тихую и скромную семейную жизнь, почувствуете атмосферу любви, окружающую обитателей этого мирнаго уголка. Но и эта жизнь сложилась не сразу, не безъ борьбы и не безъ страданій. Съ перваго появленія Левина въ романѣ, мы уже знаемъ, что онъ любитъ хорошенькую и граціозную Кити Щербацкую и съ первыхъ же почти словъ его съ нею мы уже предчувствуемъ готовую обрушиться на него неудачу. Какъ ни симпатично относилась молодая дѣвушка къ простому, искреннему и умному Левину, но воображеніе ея уже успѣло плѣниться блестящимъ Вронскимъ, и она отказала сдѣлавшему ей предложеніе Левину. Печально вернулся онъ въ свою деревню и вошелъ въ свою одинокую и показавшуюся ему ненужною жизнь. Между тѣмъ страсть Вронскаго къ Карениной, круто повернувшая его жизнь, задѣла также и Кити. Обманутая въ своихъ надеждахъ, оскорбленная въ своемъ чувствѣ, Кити серьезно заболѣла. Только переживъ первое свое горе и выросши въ немъ душою, Кити поняла Левина и съ грустью думала о томъ

горѣ, которое она причинила ему. Вскорѣ послѣ своего выздоровленія, она встрѣтилась съ Левинымъ у Стеркадьевича Облонскаго. Встрѣча эта рѣшила судьбу. Левинъ понялъ, что по-прежнему любить почувствовала, что онъ имѣетъ для нея исключительное значеніе любимаго человѣка... Они сдѣлались мужемъ и женой. Послѣ свадьбы молодые съѣхали въ деревню, и тутъ-то началась для счастливая идиллія. Въ изображеніи ихъ семейнаго графа Толстой остается, какъ и всегда, типомъ-реалистомъ. Онъ ни на минуту не покидаетъ земли, никогда не переходитъ за черту владѣнія, никогда не забываетъ особенностей русскаго быта. Не сказочное счастье показываетъ онъ намъ тихую и простую жизнь со всею правдою, чистую любовь, мелкихъ радостей и тревогъ, жизнь въ колоритѣ обыденности, со всеми естественными послѣдствіями брака, каковы — рожденіе новыхъ заботъ о нихъ, новыхъ чувства и приносы. Но въ этомъ мелкомъ и обыденномъ Толстой умѣетъ показать великое и важное. Въ его изображеніи семья представляетъ такое положеніе въ жизни, которое дѣйствительно отвѣчаетъ природѣ человѣка и въ которомъ можетъ быть спокоенъ и счастливъ. Таковы Николай Ростовъ, Пьеръ Безуховъ, таковы и Левинъ.

Исторія Левина этимъ не кончается. Ищущій на вопросы жизни Пьеръ Безуховъ останавливается на семьѣ, удовлетворяется ею и въ ней

исчезаетъ. Левинъ именно изъ семьи возникаетъ передъ нами во всемъ своемъ значеніи и поднимаетъ свой вопросъ именно съ того мѣста, гдѣ кончился Пьеръ.

Счастье Левина не безоблачно. У него своя драма, своя Немезида. Драма эта связываетъ личность Левина съ процессомъ умственного развитія человечества и потому представляетъ глубокой общественный интересъ. Левинъ принесъ въ своей личности и человеческую душу, ищущую отвѣта на вопросы жизни; господствующее-же возрѣніе вѣка, къ которому онъ подчинился и онъ, разрушило его дѣтскія и юношескія вѣрованія и ничего не дало ему, чѣмъ-бы могъ ихъ замѣнить, въ чемъ-бы онъ могъ отвѣтъ на неотступные вопросы совнана. Вот какой коллизіи выросла та внутренняя драма, которую переживалъ Левинъ.

«Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь вѣлья жить. А знать я этого не могу, слѣдовательно вѣлья жить», говорилъ онъ себѣ. «Въ безконечномъ времени, въ безконечности матеріи, въ безконечномъ пространствѣ выдѣляется пузырекъ-организмъ, пузырекъ этотъ поддержится и лопнетъ, и пузырь этотъ—я».

«Это была мучительная неправда, но это единственный, послѣдній результатъ вѣковыхъ исканій мысли человеческой въ этомъ направленіи было то послѣднее вѣрованіе, на которомъ строились, почти во всѣхъ отрасляхъ, изысканія человеческой мысли. Это было царствующее убѣжде-

ь изъ всѣхъ другихъ объясненій, какъ все-таки ясное, невольно, самъ не зная когда и какъ, въ именно это.

о это не только была неправда,—это была сая насмѣшка какой-то злой силы, злой, про-
т, и такой, которой нельзя было подчиняться. было избавиться отъ этой силы. И избавленіе въ рукахъ cadaго. Надо было прекратить эту мость отъ зла. И было одно средство—смерть. счастливый семьянинъ, здоровый человѣкъ. въ былъ нѣсколько разъ такъ близокъ къ саству, что пряталъ шнурокъ, чтобы не повѣна немъ, и боялся ходить съ ружьемъ, чтобы трѣлиться».

Левинъ жилъ, и жизнь его, покорная какимъ-нѣятымъ ему законамъ, текла не безразлично. ходила въ разнообразной дѣятельности и въ съ соблюденіи установившихся правилъ. Про-
т мучиться занимавшими его вопросами, онъ же время старательно исполнялъ всѣ лежащія въ, какъ на мужѣ и на хозяинѣ, обязанности. юрѣчіе это вызывало въ немъ новые вопросы ія мысли о томъ, что онъ живетъ хорошо, но въ плохо. Разговаривая однажды съ мужикомъ мъ, Левинъ слышалъ отъ него простыя слова, занычъ для души живетъ, Бога помнить. Слова азили Левина, являясь для него точно какими-ровеніемъ. Какой-то свѣтъ пролился изъ нихъ въ терзающихъ его вопросовъ.

я искалъ чудесъ, жалѣлъ, что не видалъ чуда,

которое-бы убѣдило меня. Чудо матеріальное соблаго-бы меня. А вотъ чудо, единственно возможное постоянно существующее, со всѣхъ сторонъ окружающее меня,—и я не замѣчалъ его...

«Федоръ говоритъ, что Кирилль дворникъ ж для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, разумныя существа, не можемъ иначе жить, для брюха. И вдругъ тотъ-же Федоръ говоритъ для брюха жить дурно, а надо жить для пр для Бога, и я съ намека понимаю его! И я, и цѣны людей, жившихъ вѣка тому назадъ и и щихъ теперь, мужики, нищіе духомъ и муд думавшіе и писавшіе объ этомъ, своимъ неяс языкомъ говорящіе то-же, — мы всѣ согласн этомъ одномъ: для чего надо жить и что хоро со всѣми людьми имѣю только одно твердое сомнѣнное и ясное знаніе; и знаніе это не м быть объяснено разумомъ—оно выѣ его, и не и никакихъ причинъ и не можетъ имѣть ника послѣдствій».

Ему стало ясно, что, несмотря на всѣ его с нія, жизнь его держалась тѣми вѣрованіями, в торыхъ онъ съ дѣтства былъ воспитанъ.

«Что-бы я былъ такое», продолжалъ онъ ду «и какъ-бы прожилъ свою жизнь, еслибы не и этихъ вѣрованій, не зналъ, что надо жить для а не для своихъ нуждъ? Я бы грабилъ, лгалъ, валь. Ничего изъ того, что составляетъ гла радости моей жизни, не существовало-бы для ме

«Я искалъ отвѣта на мой вопросъ. А отвѣ

мой вопросъ не могла дать мысль, — она несоизмѣрима съ вопросомъ. Отвѣтъ мнѣ дала сама жизнь, въ моемъ знаніи того, что хорошо и что дурно. А знаніе это я не прибрѣлъ ничѣмъ, но оно дано мнѣ вмѣстѣ со всѣми, *дано* потому, что я ни откуда не могъ взять его».

Вдумавшись въ значеніе пережитого Левинымъ душевнаго кризиса, нельзя не сознаться, что эта скромная, простая личность является выразителемъ крупнѣйшаго вопроса нашего времени. Вѣчная природа человѣческаго духа, съ его неистребимыми потребностями, возстала въ Левинѣ противъ господства отрицанія, противъ безнадежнаго и неудовлетворяющаго міропониманія, овладѣвшаго умами нашего вѣка; страданіями своими онъ какъ-бы заплатилъ за историческія ошибки человѣческой мысли, потому что и здѣсь нѣтъ свободы, нѣтъ независимаго развитія личности, потому что жизнь поколѣній тѣсно связана, потому что и здѣсь ничто не прощается, и здѣсь царить тотъ-же законъ: Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ.

При иной, болѣе абстрактной и сконцентрированной манерѣ творчества, графъ Толстой могъ-бы создать изъ Левина образъ, подобный Фаусту. Внутреннее содержаніе Левина, значеніе принесенной имъ идеи давали полную возможность для этого. Но этого не позволилъ реализмъ графа Толстого. Онъ не отступилъ отъ простоты изображаемаго имъ быта, и воплощая огромную идею, далъ ей конкретно-случайныя, скромныя формы обыденной дѣйствительности. «Если

тутъ есть истина, она должна быть понята и безъ чистаго образа, въ ея естественномъ жизненномъ проявленіи», какъ-бы говорить намъ авторъ своею манерой. Но если отъ такихъ пріемовъ творчества выигрываетъ правда дѣйствительной жизни, то нельзя не замѣтить, что, подчиняясь неизбѣжнымъ законамъ перспективы, въ этой правдѣ тонетъ и умаляется высказанная авторомъ идея, и чтобы придать ей надлежащіе размѣры, читатель долженъ отвлечь ее отъ лицъ и приподнять надъ дѣйствіемъ романа.

Но что-же это за идея? Въ чемъ ея сущность?

Левинъ, говоритъ намъ авторъ, только тогда нашелъ выходъ изъ заколдованнаго круга своихъ сомнѣній, только тогда освободился отъ своихъ вопросовъ, когда понялъ, что мысль несоизмѣрима съ этими вопросами, что разумъ безсиленъ дать отвѣтъ на нихъ. Только тогда онъ успокоился, когда фактъ, природу, свою живую душу поставилъ выше разума, когда пересталъ искать его санкцій и подчинился тому, что непосредственно жило въ немъ. Вотъ эту-то идею незаконной власти разума надъ жизнью и выражаетъ душевная драма Левина. Увлечшись успѣхами разума, человѣчество увѣровало въ него, какъ въ универсальную силу, все обнимающую и способную раскрыть основанія всего существующаго. Но вѣковая работа мысли въ этомъ направленіи только разрушила прежнія вѣрованія человѣка, которыя были дѣйствительно неразумны, и ничего не дала ему для жизни. И пора уже признать человѣчеству, говоритъ авторъ, что разумъ и не можетъ

ничего дать ему въ отвѣтъ на его неутоленную духовную жажду. Разумъ заключаетъ въ себѣ только нѣ жизни и самъ есть такой-же частичный природы, какъ и живущее въ душѣ человѣка здственное сознаніе долга. За что-же онъ по-тъ выше этого непосредственнаго чувства, за-искать невозможныхъ раціоналистическихъ наній для ясныхъ и всѣмъ понятныхъ требо-ровѣсти? Изумительное порабощеніе души ра-! Вѣчное идолопоклонство человѣка!..

рось современнаго человѣческаго счастья сво-такимъ образомъ, къ сверженію такъ долго-вшаго надъ душой ига разума и восстановле-го гармоническаго состоянія, когда человѣкъ всею полнотою своихъ духовныхъ силъ и удовлетворялся присущимъ ему непосред-ымъ сознаніемъ добра и зла.

IX.

„Смерть Ивана Ильича“.

Изъ числа послѣднихъ произведеній графского, собранныхъ въ XII томѣ его сочиненій изведеніемъ собственно беллетристическимъ назвать только одинъ рассказъ—«Смерть Ивана Ильича». Рассказъ этотъ, впервые появившійся въ стоящемъ изданіи, былъ встрѣченъ всеобщимъ рессомъ, показывающимъ, какъ много наше общество ждетъ еще отъ своего художника. И оно не лось въ своихъ ожиданіяхъ. Если «Смерть Ивана Ильича» ничего не прибавляетъ послѣ «В Мира» и «Анны Карениной» къ характеристическому таланту графа Толстого, зато очень много для опредѣленія его міросозерцанія. Рассказъ этотъ связанъ тѣснѣйшимъ образомъ процессомъ внутренней жизни нашего художника послѣдніе годы и, очевидно, произведенъ идеями и настроеніями, которыя нашли отраженіе въ «Исповѣди» и подобныхъ ей философскихъ произведеніяхъ.

ному закону природы, человекъ дол-
Эта неизбежность смерти придаетъ
, и значеніе всей его жизни. Мы со-
, какъ что-то конечное, подлежащее
уничтоженію, поглощенію чѣмъ-то без-
извѣстнымъ, и это сознаніе заста-
ѣнить жизнь и дорожить ею, какъ
и невозвратимымъ благомъ. Мы есте-
и воспользоваться имъ наилучшимъ
зъ чѣмъ эта наилучшая жизнь? Какую
редстоящихъ человеку возможностей
тъ онъ, чтобы не погубить свою жизнь.
прекрасныхъ даровъ ея на ничтожные,
ы? Вотъ вѣчный вопросъ человечества,
тъ во всемъ его громадномъ значе-
редъ нашимъ художникомъ. «Смерть
» есть отвѣтъ на этотъ вопросъ. Но
не содержитъ въ себѣ идеала челове-
мы не найдемъ въ немъ указанія,
жить человекъ, но увидимъ, какъ въ
и ничтожность жизни современнаго
чимъ его какъ жертву общественнаго
о того помрачившаго его сознаніе, что
нъ гоняется за пустыми призраками
ловными фикціями должнаго и уже
иать истинной красоты жизни, не мо-
и дѣйствительныхъ благъ. Здѣсь авторъ
, не должно жить. «Смерть Ивана
произведеніе чисто отрицательное.
деніи этомъ графъ Толстой изобража-

еть смерть человека, процессъ его постепеннаго разрушенія. Правда страданій, безсилія и грязи тѣла, правда душевныхъ состояній, правда предсмертной агоніи схвачена и передана художникомъ съ замѣчательнымъ мастерствомъ и тѣмъ беспощаднымъ реализмомъ, примѣровъ котораго немного найдется даже въ его творествѣ. Но смерть привлекла вниманіе нашего художника не ради нея самой, а ради ея значенія для жизни. Передъ безстрастнымъ лицомъ смерти ложь ненужна, искусственныя цѣли и удовольствія невозможны; прожитая жизнь проходитъ передъ прояснившимся сознаніемъ человека, и ему открывается ея дѣйствительное достоинство, истинное значеніе всѣхъ его желаній и дѣйствій. Поэтому смерть есть лучшій * !! показатель жизни: люди различной жизни различно умираютъ. Вѣрующій умираетъ не такъ, какъ скептикъ; эгоистъ не такъ, какъ человекъ любящій; труженикъ не такъ, какъ праздный искатель наслажденій.

Иванъ Ильичъ умираетъ мучительно и мало- * душно. Онъ былъ боленъ, онъ страдалъ физически, «но ужаснѣе его физическихъ страданій были его нравственные страданія, и въ этомъ было главное его мученіе».* Нравственные страданія его состояли въ томъ, что во время болѣзни ему первый разъ пришла въ голову мысль, что вся его сознательная жизнь была «не то», что онъ погубилъ свою жизнь.

«Ему пришло въ голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что онъ прожилъ свою жизнь не такъ, какъ должно * было, — что это могла быть правда. Ему пришло въ

о тѣ его чуть замѣтныя поползновенія тивъ того, что наивыше поставленнымъ, поползновенія чуть замѣтныя онъ тотчасъ-же отгонялъ отъ себя, что гли быть настоящія, а остальное все могло* . И его служба, и его устройство жизни,* я, и эти интересы общества и службы,* до быть не то». Сознаніе, что онъ жилъ го онъ безвозвратно погубилъ все, что дано, сознаніе ничтожности и ненужности житаго причиняло ему страшную и всегую боль. Онъ возненавидѣлъ окружаю- близкихъ людей—жену, дочь, доктора, они напоминали ему обманъ, въ которомъ жизнь. Чѣмъ ближе подходила смерть, тѣе становилась мука, пока, наконецъ, она лась въ какую-то безобразную судорогу,* въ какую-то непрерывную нравственную* лзя читать безъ ужаса и отвращенія по- границу его жизни.

И минуты, пишетъ художникъ, начался ня не перестававшій крикъ, который такъ енъ, что нельзя было за двумя дверями слышать его... Онъ понялъ, что онъ го возврата нѣтъ, что пришелъ конецъ, нецъ, а сомнѣніе такъ и не разрѣшено. ается сомнѣніемъ.

У!» кричалъ онъ на разныя интонаціи. Онъ ичать: «не хочу!» и такъ и продолжалъ , букву «у».

Всѣ три дня, впродолженіе которыхъ для него не было времени, онъ барахтался въ томъ черномъ мѣшкѣ, въ который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Онъ бился, какъ бьется въ рукахъ пачага приговоренный къ смерти зная, что онъ не спастись; и съ каждой минутой онъ чувствовалъ, что, несмотря на всѣ усилія борьбы, онъ сближе становился къ тому, что ужасало его. Онъ чувствовалъ, что мученье его и въ томъ, что онъ всовывается въ эту черную дыру, и еще въ томъ, что онъ не можетъ пролѣзть въ нее. Но онъ не могъ же ему мѣшать признанье того, что жила была хорошая. Это-то оправданіе своей жизни давало ему и не пускало его впередъ и больше вбирало его».

Только за часъ до смерти онъ успокоился, зная, что всего лучше ему умереть. Страхъ исчезъ, ему показалось даже, что исчезла и смерть, и новая, непонятная живымъ, радость наполнила его душу.

Но что же такое Иванъ Ильичъ? Какою заслужилъ онъ свою предсмертную муку? — Ильичъ не былъ злой или безчестный человекъ, совершивъ ничего преступнаго или даже не на него. Жизнь его была самая простая и обыкновенная — и самая ужасная, прибавляетъ авторъ. Онъ былъ сынъ петербургскаго чиновника, тайничка Ильи Ефимовича Головина. Воспитанъ въ училищѣ правовѣдѣнія и здѣсь уже обнаружены присущія ему качества человека способнаго, и

добродушнаго и общительнаго, но въ то-же время строго исполняющаго свой долгъ, которымъ онъ считалъ все то, что признавалось долгомъ наивысше поставленными людьми. Въ старшихъ классахъ училища онъ отдавался чувственности, тщеславію и даже либеральности, но всегда только до извѣстнаго предѣла, вслѣдствіе чего всѣ эти увлеченія молодости не оставили большихъ слѣдовъ въ его жизни. Выйдя изъ правовѣдѣнія, онъ уѣхалъ въ провинцію на мѣсто чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ. Здѣсь онъ сумѣлъ устроиться такъ-же легко и пріятно, какъ и въ правовѣдѣніи. «Онъ служилъ, дѣлалъ карьеру и вмѣстѣ съ тѣмъ пріятно и прилично веселился... Была (у него) и связь съ одной изъ дамъ, навязавшейся щеголеватому правовѣду; были и поѣздки въ дальнюю улицу послѣ ужина; было и подслуживанье начальнику и даже женѣ начальника; но все это носило на себѣ такой высокій тонъ порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только подъ рубрику французскаго изрѣченія: *«il faut que jeunesse se passe»*».

Со введеніемъ судебной реформы Иванъ Ильичъ получилъ мѣсто судебного слѣдователя и переѣхалъ въ другой городъ. Здѣсь онъ зажилъ такъ-же пріятно, какъ прежде. Здѣсь-же онъ встрѣтилъ свою будущую жену, привлекательную, умную, блестящую дѣвушку—Прасковью Ѳедоровну. Она влюбилась въ него и онъ женился на ней. «Сказать, что Иванъ Ильичъ женился потому», объясняетъ авторъ, «что онъ полюбилъ свою невѣсту и нашелъ въ ней сочувствіе

своимъ взглядамъ на жизнь, было-бы также несправедливо, какъ и сказать то, что онъ женился потому, что люди его общества одобряли эту партію. Иванъ Ильичъ женился по обоимъ соображеніямъ: онъ дѣлалъ пріятное для себя, пріобрѣтая такую жену, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ то, что наивысше поставленные люди считали правильнымъ».

Брачная жизнь увлекла Ивана Ильича только на первое время, пока она увеличивала пріятность жизни и не налагала особенныхъ обязанностей. Но со времени беременности жены и затѣмъ рожденія дѣтей, когда Иванъ Ильичъ понялъ всю трудность и сложность семейныхъ обязанностей, онъ, чтобы не нарушать пріятности и приличія своей жизни, выработалъ къ семьѣ особенное отношеніе, которое оставляло свободною значительную часть его личности. Въ семейной жизни онъ искалъ удобствъ домашняго обѣда, хозяйки, постели и того приличія внѣшнихъ формъ, которое требовалось общественнымъ мнѣніемъ. Онъ принималъ отъ семьи и тѣ удовольствія, которыя иногда она доставляла ему; если-же онъ встрѣчалъ непріятности и поползновенія на свою личность, то тотчасъ уходилъ въ выгороженный имъ міръ службы и въ немъ успокоивался.

По мѣрѣ усложненія семейной жизни новыми обязанностями воспитанія дѣтей, Иванъ Ильичъ все больше и больше удалялся отъ нея и уходилъ въ службу. Онъ сдѣлался честолюбивъ и его служебное положеніе перестало удовлетворять его. Послѣ семнадцати лѣтъ службы, онъ былъ всего прокуроромъ

✕
окружнаго суда. Важнѣйшимъ интересомъ его жизни сдѣлалось повышеніе по службѣ, главнымъ дѣломъ — та политика отношеній съ выше-поставленными людьми, которая способна была поднять его на желаемую ступень. На этомъ поприщѣ Ивану Ильичу пришлось испытать и обидныя неудачи, и неожиданный успѣхъ. Онъ ждалъ мѣста предсѣдателя въ одномъ изъ университетскихъ городовъ, но мѣсто это успѣлъ получить другой. При слѣдующемъ назначеніи, Ивана Ильича опять обошли. Раздраженный, обиженный, стѣсненный въ средствахъ, Иванъ Ильичъ рѣшилъ уже бросить службу по судебному вѣдомству и перейти въ какое-нибудь другое, когда неожиданная переменѣна лицъ наверху вытащила и его. Онъ получилъ мѣсто члена судебной палаты. Этотъ успѣхъ осчастливилъ Ивана Ильича. Въ планахъ и предположеніяхъ новой жизни онъ вполне сошелся съ женою, и семейный миръ дополнилъ его довольство. Онъ уѣхалъ въ новый городъ принимать должность и ✕ устроить квартиру. На это устройство онъ положилъ много труда и заботъ, стараясь сдѣлать все такъ, какъ это бываетъ у богатыхъ людей. Устроивъ все, онъ вызвалъ жену и дѣтей и снова началъ евою приличную и пріятную жизнь. Онъ искалъ и умѣлъ находить удовольствія въ жизни. «Радости служебныя были радости самолюбія, радости общественныя были радости тщеславія; но настоящія радости Ивана Ильича были радости игры въ винтъ». Были, конечно, и непріятности. Непріятны были ссоры съ женою, попрежнему случавшіяся между ними, непріятно было

всякое разрушеніе заботливо созданной обстановки, всякое пятно на скатерти или штофѣ, всякій поломъ мебели или порча посуды. Жизнь Ивана Ильича сложилась, вообще говоря, согласно его желаніямъ и стремленіямъ. Для полноты комфорта не до развѣ одной комнаты, до полного удовлетворенія хватало развѣ рублей 500 въ годъ...

Вдругъ въ мирную и счастливую жизнь Ильича, готовую уже, кажется, приблизиться къ идеалу, ворвалось что-то страшное и неожиданное. Иванъ Ильичъ заболѣлъ. Болѣзнь эта обрушилась на него, какъ снѣгъ на голову, внезапно-неожиданно отъ причины пустой и глухой: устраивая къ себѣ оныя упалъ какъ-то съ лѣстницы и ударился о раму. И изъ этого ушиба, въ то время, когда Иванъ Ильичъ забылъ уже и думать о немъ, развилась болѣзнь, приведшая его къ смерти.

Вотъ какова жизнь Ивана Ильича. Оглядываясь на эту жизнь, мы понимаемъ предсмертное сожаленіе Ивана Ильича. Въ его жизни — отъ юности до смерти — не было ничего человѣчески-прекраснаго, ничего такого, что собственною значеніемъ своимъ могло-бы удовлетворить душу личность человѣка, воспоминаніе о чемъ могло-бы успокоить его передъ смертью. Его жизнь была прерывнымъ стремленіемъ къ цѣлямъ искусственнымъ и ничтожнымъ, суетнымъ служеніемъ кому и скудному Молоху, способному поглотить жизнь, но безсильному дать своимъ поклонникамъ хотя-бы одну истинную, человѣческую радость.

никогда не жилъ прекрасными, благими силами души, данными человѣку природою, но довольствовался ихъ жалкими суррогатами. вмѣсто правды—въ его приличіе, вмѣсто любви—чувственность, вмѣ-
ѣствія человѣческому добру — честолюбіе и
любіе, вмѣсто высокихъ наслажденій красо-
ра и человѣка — ничтожныя удовольствія...
ительною кажется намъ эта пустая жизнь
чнаго себялюбія, жизнь, въ которой нѣтъ ни-
супающаго ея постоянную пошлость и мелоч-
въ которой высшею радостію человѣка стано-
гра въ винтъ, и намъ дѣлается понятнымъ,
ъ человѣка, котораго подобная жизнь могла
летворить. Не удовлетворяетъ она и Ивана
. И когда передъ смертію она встала передъ
) всемъ своемъ содержаніи, онъ пришелъ въ
отъ сознанія чего-то лучшаго въ жизни, что
мѣнялъ на свои жалкія дѣла.

сказали уже, что «Смерть Ивана Ильича»
произведеніе отрицательное, и сила отрицанія въ
кова, что, прочтя его, вы страшно чувствуете
ъ изображаемой жизни, чувствуете, что такъ
мъзя, не должно и не стоить. Это впечатлѣ-
каза неотразимо, этотъ смыслъ его не под-
сомнѣнію и не вызываетъ разногласія; но зна-
азсматриваемаго произведенія зависитъ отъ
всеобщности или исключительности раскры-
имъ жизни—и въ этомъ пунктѣ мнѣнія зна-
о расходятся. Намъ приходилось слышать по
разбираемаго разсказа, что графъ Толстой съу-

зиль значеніе своей отрицательной идеи, представивъ въ Иванѣ Ильичѣ какое-то нравственно убогое, обиженное судьбою существо. Это, говорятъ, своего рода Акакій Акакіевичъ, личность жалкая, униженная природой и не имѣющая никакихъ правъ представлять въ себѣ жизнь нашего общества. Убожество и ничтожность его жизни не смутятъ никого изъ этого общества, потому что всякій невольно почувствуетъ свое превосходство надъ Иваномъ Ильичемъ, неизбежно замѣтитъ, что уровень его личного достоинства несравненно выше, чѣмъ тотъ, до котораго упалъ этотъ жалкій чиновникъ—Иванъ Ильичъ...

Въ этомъ мнѣніи мы можемъ видѣть только самообольщеніе. Человѣку нашего общества не хочется признать себя въ томъ беспощадномъ зеркалѣ, которое поднесъ ему художникъ, и онъ утверждаетъ, что оно изображаетъ не его, а какихъ-то другихъ людей. Съ точки зрѣнія нравственного достоинства, со стороны способности своей удовлетворить духовныя потребности человѣка, жизнь Ивана Ильича дѣйствительно ничѣмъ не выше жизни Акакія Акакіевича. Но чѣмъ же выше въ этомъ отношеніи жизнь нашего культурнаго общества? Въ чемъ нравственное содержаніе его жизни, какія духовныя стремленія присущи ему, въ какомъ типѣ находитъ оно свое настоящее выраженіе? Въ нашемъ обществѣ есть несомнѣнно живыя струи: есть проблески духовныхъ потребностей, есть исканіе правды жизни, но всѣ эти струи текутъ прочь отъ преобладающаго, установившагося и окрѣпшаго русла нашей культурной жизни; всѣ

потребности духа, всѣ исканія правды отрываютъ лишь немногія единицы отъ массы нашего общества, покорной извѣстному, традиціонному порядку жизни. Все это отщепенцы и протестанты общества, уходящіе отъ него то въ мистицизмъ, то въ трудовую народную жизнь, то въ скептическое, угрюмое одиночество. Отдѣлите ихъ—и вы получите то ядро культурнаго общества, достойнымъ представителемъ котораго является Иванъ Ильичъ. Одинъ больше успѣлъ по службѣ, другой больше страсти вложилъ въ свои отношенія къ женщинѣ, третій добился большаго богатства,—въ этомъ разнообразіе безконечное; но духъ ихъ жизни, ея внутренній смыслъ, тотъ тонъ, который дѣлаетъ музыку жизни,—у всѣхъ одинъ и тотъ же. И это тотъ-же тонъ, которымъ звучитъ небольшая исторія жизни и смерти Ивана Ильича.

Разсматриваемое произведеніе не имѣетъ, конечно, универсальнаго значенія. Это не жизнь и не смерть человѣка вообще. Не имѣетъ оно также значенія національнаго: Иванъ Ильичъ не представитель русскаго народа, не выразитель русской души. Значеніе его опредѣляется тою сферою современнаго человечества, которую мы называемъ культурнымъ классомъ: Иванъ Ильичъ—это художественное обобщеніе жизни этого класса; это образъ, въ которомъ выразилось все типическое изъ внутренняго, духовнаго содержанія этой жизни.

Подведемъ теперь итогъ всему сказанно
жественныхъ произведеніяхъ нашего писат

Графъ Толстой долго работалъ въ ли
написалъ очень много. Несмотря на эту
тельность его творческой дѣятельности и
разіе затронутыхъ имъ мотивовъ, художе
міръ его созданій представляется органи
нымъ. Міросозерцаніе автора, одѣвшееся
жественные образы, въ своихъ существен
тахъ осталось и въ послѣднихъ его произ
такимъ-же, какимъ обрисовалось въ пер
самаго начала своей литературной дѣятель
выступилъ безстрашнымъ и неутомимы
телемъ истины человѣческой жизни, и та
свѣтила ему и въ его послѣднихъ созданіяхъ.
во графа Толстого всегда тяготѣло къ одно
двигалось и развивалось однимъ основны
сомъ—интересомъ къ человѣческой личности
коею человѣческая личность по ея внутренн
жанію? Какія потенціи даны ей природою?
жетъ жить человѣкъ на землѣ и насколько
тыя ему возможности хороши или дурны,
онѣ могутъ удовлетворить человѣка, состо
счастье?—вотъ вопросы, формирующіе тво
мыслы нашего художника, составляющіе
ную основу всѣхъ его произведеній. До
отвѣта на эти вопросы, онъ проявилъ ту
требовательность духа, ту ясность и тре
сли, которыя не позволили ему удовлетво
манами, какъ бы ни были высоки ихъ

теть у человѣчества, но заставили идти до конца по пути изслѣдованій жизни, раскрывая всю ея

Въ немъ съ необычайною силою сказались инстинкты и стремленія духа, которые создали реакционное направленіе въ искусствѣ. Въ качествѣ и послѣдовательнаго реалиста, онъ разоблачалъ много человѣческихъ обмановъ, разрушилъ мифы и идеалы. Здѣсь, на почвѣ искусственныхъ, рованныхъ идеаловъ, онъ является первый критикомъ.

Какую же идею принесъ онъ въ своемъ реактивномъ чувствѣ отвѣтилъ на добытую правду

и есть художники, въ душѣ которыхъ на-преобладала потребность чистой, абстрактной, что невозможность осуществленія ея въ действительности опредѣляла все отношеніе ихъ къ жизни. Они могли найти себѣ удовлетвореніе только въ идеалахъ строгаго, классическаго искусства и, вѣрныя на его образцахъ, выносили глубокое разочарованіе изъ всѣхъ столкновеній съ дѣйствительностью природы и человѣка. Они искали чистыхъ формъ красоты, ума, страсти, величія; дѣйствительность же — въ силу ея необходимыхъ законовъ — давала имъ смѣшеніе красоты съ безобразіемъ, пошлостью, страсти съ мелочными заботами жизни, величія съ ничтожествомъ. И они съ горькимъ презрѣніемъ смотрѣли на землю и на судьбу человѣка. Въ своемъ творествѣ они уходили въ идеалы, изображали ея правду,

но изображали зло, саркастически, изображали за-
тѣмъ, чтобы осмѣять или оплакать ее, чтобы пре-
врѣніемъ къ ней выразить горькій протестъ гордаго
и свободного духомъ человѣка противъ его мелкаго
земнаго жребія. Это—истинные представители пессимизма. Таковы Байронъ, Гейне, Альф.
Мюссе, таковъ отчасти нашъ Тургеневъ.
таковъ графъ Толстой. Онъ умѣетъ любить ;
тельность такою, какъ она есть; въ его сер-
ветъ какое-то иное чувство, открывающее
бокій смыслъ жизни и заставляющее его не
мириться съ ними, но и находить для нихъ
оправданіе. Ни одинъ изъ героевъ его не п-
лется намъ безусловно красивымъ, благо-
самоотверженнымъ или сильнымъ, но многи
нихъ мы не можемъ не любить за то чело-
прекрасное, что показалъ намъ въ нихъ
Вспомнимъ еще разъ Пьера Безухова, Андрея
скаго, Наташу, Левина. Всѣ они въ высшей
жизненны и правдивы, всѣ они несоверше
въ то же время всѣ они—прекрасны. Созд-
образы, *графъ Толстой далъ новое содержаніе*
сному. Поэты-пессимисты отрицаютъ дѣйстви-
жизнь во имя несбыточныхъ грезъ и желан-
вѣка; графъ Толстой отрицаетъ эти красив-
тази во имя жизни. Онъ не разъ изобража-
ное несогласіе жизни съ этими фантасти-
идеалами, но для него жизнь всегда была
этого увлекательнаго бреда, и во всѣхъ ихъ ко-
виноватою онъ считалъ не ее—за то, что онъ

исполнить мечту человека, но сам за то, что онъ привязалъ свое цѣствiмому идеалу. Приведя жизнь ивъ ее отъ условныхъ воззрѣнiй, цитъ въ ней не только зло и стра-божество и животность. Онъ на-омнѣнныя блага, умѣетъ понять е достоинство и умѣетъ сдѣлать стинной поэзіи. Поэзія его не есть, шая молитва страстнаго поклонни-на вся проникнута спокойнымъ и ельнымъ настроеніемъ, но это спо-ужественнаго и глубокаго чувства чности, смирившейся передъ не-ироды, передъ своимъ земнымъ шнейся въ томъ, что жребій этотъ удень, какъ представляли себѣ его что, заключивъ человека въ огром-мной жизни, природа дала ему—пеніе—много своихъ прекрасныхъ даровъ и что то, чего не помѣ-сахъ этой тюрьмы, останется для оступнымъ.

Дѣйствительность человѣческой стой относится къ ней далеко не поэзія не есть сплошная санкція Онъ видитъ въ ней добро и воз-но онъ знаетъ также, что человекъ олько мотивами добра, что плохо лваться открытымъ ему счастьемъ;

онъ видитъ массу зла и заблужденій, видитъ
сто человѣкъ ошибочно строить зданіе сво
Все построеніе современныхъ культурныхъ
онъ считаетъ основаннымъ на лжи, на заб
ственныхъ потребностей духовной природы
Здѣсь во второй разъ онъ является отрицат
отрицаетъ современную дѣйствительности
цаетъ ее во имя тѣхъ благъ человѣческа
естественнаго счастья, которыя возможны
вѣка и которыя не находятъ себѣ удовольств
жизни современныхъ обществъ.

Х.

Этическое учение графа Толстого.

Сдѣлавши характеристику графа Толстого, какъ художника, мы считаемъ необходимымъ, для полноты нашего очерка, сказать нѣсколько словъ и объ этическомъ его ученіи.

Въ сферѣ духовной жизни—не только у насъ въ Россіи, но и во всей Европѣ—графъ Толстой является въ настоящее время безспорно самою крупною личностью. Какъ никто другой, онъ привлекаетъ къ себѣ мысль и вниманіе современнаго человѣка: онъ возбуждаетъ цѣлое умственное движеніе среди нашего общества, онъ имѣетъ уже учениковъ и послѣдователей. И, какъ мы уже замѣтили выше, интересъ къ личности нашего писателя основывается, главнымъ образомъ, не на художественныхъ его созданіяхъ, которыя до сихъ поръ еще недостаточно поняты, но на содержаніи высказанныхъ имъ въ послѣднее время нравственныхъ идей.

Немало вниманія удѣлила гр. Толстому и наша періодическая печать. И нужно сказать, что большин-

ство ея органовъ отнеслось къ идеямъ нашего автора отрицательно. Но, несмотря на цѣлый рядъ этихъ отрицательныхъ критикъ, вопросъ о достоинствѣ и правдѣ ученія графа Толстого все-же остается открытымъ; всѣ эти критики лишь поверхностно касаются своего предмета, ограничиваются только разборомъ отдѣльныхъ, произвольно вырванныхъ и подчасъ дѣйствительно парадоксальныхъ, мнѣній автора, и ни одна изъ нихъ даже не потрудились представить разматриваемое ученіе во всемъ его цѣломъ, ни одна не направила своего анализа на его основную идею, на его отличительную сущность.

Что-же такое графъ Толстой? Какую идею развилъ онъ въ своемъ ученіи? Въ чемъ сущность этого ученія? Вотъ вопросъ, на который необходимо отвѣтить ясно и опредѣленно, прежде чѣмъ подвергать оцѣнкѣ то или другое изъ его положеній или говорить о значеніи всего его міросозерцанія. Двѣнадцатая часть сочиненій графа Толстого, присоединяясь къ извѣстному уже содержанію его прежнихъ произведеній, главнымъ образомъ его «Исповѣди», представляетъ уже достаточный матеріалъ для опредѣленія основныхъ началъ его ученія. Вотъ эти-то основы мы и постараемся уяснить въ настоящей главѣ.

Ученіе графа Толстого обнимаетъ не какой-либо спеціальный вопросъ знанія, но содержитъ въ себѣ вопросъ человѣческой жизни въ его непосредственномъ, практическомъ значеніи; его можно сравнивать не съ методическими изслѣдованіями современной науки, даже не съ попытками философіи, стремя-

но скорѣе всего съ ученія-ревности, какъ Будда или говорили человѣку, какъ въ Ученіе графа Толстого, внутренней жизни, это—, но исповѣдь сердца, кожить и перестрадать великими и вопросами нашего

ственной жизни человѣкъ свободнымъ: онъ можетъ есть направить свою жизнь можетъ брать отъ жизни то для того, чтобы быть тѣмъ, чтобы не испытывать необходимо долженъ быть имъ въ жизни путь есть

ичнымъ путемъ людей на-ва, не былъ спокоенъ и тѣмъ, что могло-бы слу-интеллигентнаго человѣка, зкую тревогу глубокихъ сомъ происходила отъ того, онъ велъ среди своего общаніи, которое онъ воспри-затерялись смыслъ и цѣль знаніе этой цѣли и этого человѣка. Напряженно и искиваться этого смысла.

Жизнь, какъ явленіе міра, логически необходимо представляется намъ съ неизбежными моментами ея возникновеніи и прекращенія — рожденія и смерти. Какой-же смыслъ можетъ имѣть эта конечная ^{человѣ}чѣская жизнь? Какой смыслъ ея не уничтоженіе неизбежностью смерти? Этотъ вѣковѣчный вѣсчеловѣчества всталъ и переходъ графомъ Толстѣмъ искать отвѣта на него? Въ положительной е Но она только объясняетъ явленія, даетъ о только на вопросъ: почему существуетъ то ил гое, а не на вопросъ:—зачѣмъ. Она могла-бы, то лишь достигнувъ неопредѣленно высокой ст развитія, — она могла-бы сказать, что жизнь вѣчская явилась благодаря такимъ-то и таки сочетаніямъ частицъ, такимъ-то и такимъ-то віямъ, что она должна прекратиться благодар кимъ-то и такимъ-то законамъ этихъ сочетані за разрѣшеніе вопроса о смыслѣ жизни она г рется и взяться не можетъ, такъ какъ при из ваніи природы совершенно устраняетъ воц цѣли и абсолютномъ смыслѣ явленій.

Искать-ли отвѣта въ умозрительной фило Но послѣдняя, по словамъ графа Толстого, ' ставить этотъ вопросъ, а не отвѣчаетъ на негс кій отвѣтъ ея есть, въ сущности, только услс ный вопросъ и не можетъ быть ничѣмъ инымъ какъ всѣ свои построенія философія выводит разума, а для человѣческаго разума недоступна конечнаго съ безконечнымъ.

Вопросъ оставался нерѣшеннымъ, жизнь и

жала казаться лишенною смысла, а жить безъ смысла жизни было невозможно. Но какъ-же живутъ и жили люди? Въ отношеніи къ поднятому графомъ Толстымъ вопросу всѣ люди раздѣляются на двѣ категоріи. Для однихъ, для людей того времени и того общества, гдѣ жилъ гр. Толстой, смыслъ ихъ жизни былъ потерянъ, такъ-же какъ и для него; для другихъ—для огромной массы живущаго и прежде жившаго человѣчества, жизнь имѣла ясный, вполне опредѣленный смыслъ. Люди первой категоріи жили четырьмя различными исходами изъ своего положенія. Одни изъ нихъ вовсе не знали вопроса: не сознавая смысла своей жизни, они вовсе не думали о немъ и не искали его, а жили себѣ изо дня въ день своими органическими потребностями и цѣлями. Но это, можетъ быть, и счастливое невѣдѣніе людей немыслящихъ—невозможно, конечно, для того, въ комъ уже пробудилась дѣятельность сознанія: нельзя отказаться отъ того, что знаешь. Второй исходъ—это исходъ эпикуреизма. Сознавая безсмысленность своей жизни, люди ищутъ забвенія въ наслажденіяхъ, въ мимолетныхъ радостяхъ, ищутъ спасенія въ непрерывномъ опьяненіи жизнью. Но и этотъ исходъ доступенъ не всѣмъ: онъ обуславливается извѣстною тупостью воображенія. Всѣ-же не страдающіе этимъ недостаткомъ легко могутъ представить себѣ, что какая-нибудь случайность, какихъ тысячи въ жизни, можетъ отнять возможность наслажденія и дать вмѣсто нихъ необходимость страданія, что того-и-гляди придетъ нищета или болѣзнь и оставитъ безпомощнаго эпи-

курейца одного передъ вставшимъ вопросомъ жизни. Третій исходъ—исходъ послѣдовательности и силы. Люди, страдающіе отъ отсутствія смысла въ ихъ жизни, уничтожаютъ эту жизнь, кончаютъ самоубійствомъ. Но и на это способны не всѣ, и многіе, образующіе четвертую группу, страдая въ безплодныхъ поискахъ смысла своей жизни, такъ и остаются жить со своими страданіями и исканіями. Но это уже все и не выходъ изъ положенія, представляющагося невыносимымъ, а, напротивъ, безсиліе выйти изъ него.

Такимъ образомъ, жизнь культурнаго общества не давала никакихъ указаній и надеждъ на разрѣшеніе вопроса. Тогда графъ Толстой вышелъ изъ тѣснаго круга этого общества и обратился къ народу, къ человечеству въ его совокупности, въ его прошломъ и настоящемъ. И передъ нимъ обнаружился во всей ясности и несомнѣнности тотъ фактъ, что сравнительно только немногіе люди, только отдѣльныя единицы не знаютъ смысла своей жизни, масса же человечества отъ начала своего историческаго существованія и до нашихъ дней всегда сознавала опредѣленный смыслъ жизни, всегда имѣла отвѣтъ на вопросъ о назначеніи человѣка. Этотъ смыслъ открывала человечеству и хранила для него религія, неизмѣнная спутница его исторической жизни. И человѣкъ принималъ откровенія и завѣты религіи, принималъ не потому, чтобы она доказала ему ихъ разумность, но потому, что онъ вѣрилъ въ нихъ.

И такъ, вѣра—вотъ что даетъ знаніе смысла жиз-

отвѣтъ на вѣчный вопросъ чело-
могло-бы прекратить муку под-
й. «Вѣра есть сила жизни. Если
то онъ во что-нибудь да вѣритъ.
ѣрилъ, что для чего-нибудь надо
не жилъ. Если онъ не видитъ, не
вечное есть призракъ, онъ вѣритъ
онъ понимаетъ призрачность ко-
нъ вѣрить въ безконечное. Безъ
...» говорить графъ Толстой.

у, кто выросъ въ вѣрѣ и не утра-
, кто вѣруетъ». А какъ быть сыну
ризнавшему единственнымъ крите-
умъ и потому отвергшему знаніе
засудокъ человѣчества? Поможетъ-
что смыслъ жизни открывается
цъ разумомъ принять этотъ смыслъ
какъ онъ основанъ вовсе не на ра-
несоизмѣримъ; принять-же его во-
е невозможно: насильно нельзя за-
вать.

врующаго не измѣнилось и по-преж-
езнадежнымъ. «Пониманіе смысла
ою. Я не вѣрую и не могу увѣро-
представляется моему уму неразум-
казалось, идти было некуда, и мно-
ніемъ на этомъ умозаключеніи. Но
остановился на немъ и упорно
исканія, пока передъ нимъ не от-
ь, какая-то новая дорога, повиди-

тому обѣщающая привести къ цѣли. Руководящею нитью, выведшею его на эту дорогу, была мысль, что содержаніе человѣческаго духа не исчерпывается дѣятельностью разума, что сознательная жизнь человека имѣть своимъ источникомъ не одинъ только разумъ, но и другія способности души.

Знаніе вѣры не есть знаніе разума; слѣдовательно, оно основывается не на разумѣ и пріобрѣтается не съ его помощью, а воспитывается самою жизнью, путемъ вліянія ея на какіе-то другіе элементы человѣческой природы. Но такъ какъ существуютъ и невѣрующіе люди, то очевидно, что для того, чтобы вліяніе жизни приводило къ вѣрѣ, самая жизнь должна имѣть опредѣленные качества. Чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней благо, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не бессмысленна и зла, надо пережить благо жизни, прикоснуться къ нему всѣмъ существомъ своимъ, и тогда только разумъ съумѣетъ назвать это пережитое настроеніе. Словомъ—все дѣло въ качествахъ самой жизни.

Графъ Толстой сталъ всматриваться въ свою жизнь,—«и тутъ», говоритъ онъ, «я понялъ, что заблуждался не отъ того, что неправильно мыслилъ, а отъ того, что дурно жилъ. Я признавалъ жизнь бессмыслицей и зломъ, и моя жизнь была дѣйствительно бессмысленна и зла». А между тѣмъ это была обычная жизнь нашего культурнаго общества. Сравнивая ее съ жизнью той массы человечества, которая вѣритъ въ смыслъ жизни и въ ея благо, графъ

два совершенно различные склада
съ все различіе это устанавлива-
мъ, что наше образованное обще-
себя отъ общечеловѣческой обязан-
то время, какъ человѣкъ рабочей
законъ природы, въ потѣ лица до-
ой, человѣкъ культурной среды могъ
гъ не трудясь, или съ однимъ подо-
непонятному суевѣрію, по какой-то
ѣ, эта свобода отъ труда, эта воз-
ваться трудомъ другихъ сдѣлалась
редметомъ страстныхъ желаній, при-
мъ условіемъ счастья. Въ дѣйстви-
та породила только жестокую не-
и излишнія, ненужныя страданія.

общественной, она привела къ тому,
неработающего должны были рабо-
дствіе чего трудъ ихъ выросъ до не-
ъ ихъ силами, сдѣлался для нихъ
емъ, разрушающимъ ихъ здоровье,
ихъ время, низведя ихъ на степень
ашияъ,—словомъ, эта привиллегія

привела человѣческія общества къ
изъ котораго возникъ соціальный
росъ во всемъ его ужасномъ значе-
нїя личной—она привела къ тому,
вободившій себя отъ обязательнаго
дїйся къ удовлетворенію своихъ все
похотей, нарушилъ законъ жизни,
скаго счастья, за что и казнится не-

избѣжною потерей смысла жизни и вѣчнымъ нимъ недовольствомъ.

На чемъ же, однако, держится этотъ жизни, заставляющій однихъ страдать отъ труда, другихъ—отъ его недостатка? Если каждаго онъ находитъ себѣ опору въ томъ заблужденіи, что счастье—въ богатствѣ, освещенъ человѣка отъ обязанности трудиться, оправдывается онъ въ общественномъ мнѣніи знаніи права и справедливости, на которомъ цѣль-концовъ основывается всякій общественный рядокъ?

Вопросъ этотъ заставляетъ графа Толстого къ міросозерцанію современныхъ и міросозерцанію, сформировавшемуся подъ вліяніемъ науки и искусства.

«На опытной, позитивной наукѣ теперь оправданіе всѣхъ людей, освободившихъ труда», говоритъ графъ Толстой. «По опыту этой науки, человѣчество или общества—скія суть организмы, готовые или еще обрабатываемые и подчиняющіеся всѣмъ законамъ эволюціи и естественныхъ силъ. Одинъ изъ главныхъ законовъ этихъ—раздѣленіе отправленій между частицами организма. Если одни люди живутъ въ изобиліи, а другие въ нуждѣ, то это происходитъ не по волѣ Бога, а потому, что государство есть форма проявленія власти, а потому, что въ обществахъ, какъ въ машинахъ, происходитъ, необходимое для жизни раздѣленіе труда: одни люди исполняютъ 1

мускульную работу, другіе—мозговую». Соматическому воззрѣнію позитивной науки, существующимъ въ различныхъ обществахъ различія положеній есть необходимое послѣдствіе органической природы этихъ обществъ, есть законъ жизни, и изменить невозможно и противъ котораго идти было бы бессмысленно.

Вѣроученіе нашего времени, съ его основнымъ принципомъ органическаго развитія общества, графъ признаетъ совершенно бездоказательнымъ и произвольнымъ. Логика и очевидность дѣйствительности противъ него, и если оно въ настоящее время овладѣло умами образованныхъ людей, то исключительно потому, что оно несетъ въ себѣ оправданіе слабостей. Теорія эта клонится къ тому, чтобы то раздѣленіе дѣятельности, которое существуетъ въ различныхъ обществахъ, признать органическимъ, т. е. необходимымъ, а потому оправдывать то несправедливое положеніе, въ которомъ находимся мы, уволившіе себя отъ труда людьми точки зрѣнія разумности и справедливости только какъ несомнѣнный фактъ, подтверждающій общій законъ... Какъ-же не принять такую теорію!—Стоитъ только разсматривать общество, какъ предметъ наблюденія, и утѣшать себя мыслью, что моя дѣятельность, какова бы она ни была, есть функциональная дѣятельность организма человѣчества, и потому и рѣчь не можетъ быть о томъ, справедливо-ли то, что достигается трудами другихъ,—дѣлаю только то, что

ниѣ пріятно, какъ не можетъ быть и рѣ справедливо-ли раздѣленіе труда между клѣткой и мускульной. То-же было и съ ствующими ученіями, господствовавшими время надъ міромъ, — съ философіей Гегеля, экономической теоріей Мальтуса: и они господствовали въ силу принадлежащей имъ истины, и въ силу того, что предлагали оправданіе чуждому несправедливости*.

Но, отрицая разумность, необходимость и справедливость существующаго въ современности распредѣленія занятій, графъ Толстой возражаетъ противъ самаго принципа раздѣленія труда. Раздѣленіе труда должно быть въ человѣческихъ обществахъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что оно должно быть именно такимъ, какъ оно есть. При раздѣленіи труда требуетъ, чтобы между членами общества были распредѣлены всѣ необходимыя для существованія функціи, чтобы каждый былъ занятъ какимъ-нибудь полезнымъ трудомъ и за этотъ трудъ получалъ отъ другихъ нужные ему продукты. Въ такомъ положеніи, когда человѣкъ производитъ то, что для него ненужно, и требуетъ, чтобы за это кормили, — такого положенія нельзя считать принципомъ раздѣленія труда, такъ какъ это будетъ не раздѣленіе, но захватъ чужаго. А между тѣмъ, по словамъ графа Толстого, действительности существуетъ именно такое положеніе.

Выставивъ это общее начало, графъ

занимается изслѣдованіемъ полезности каждой изъ существующихъ въ обществѣ человѣческихъ дѣятельностей; онъ останавливается на первомъ раздѣленіи труда—на умственный и физическій—и рассматриваетъ только духовную дѣятельность современнаго человѣка, выражающуюся въ занятіяхъ науками и искусствами. «Мы мозгъ народа. Онъ кормитъ насъ, а мы его взяли учиться. Только во имя этого мы освободили себя отъ труда. Чему-же мы научили и чему учимъ его?» спрашиваетъ графъ Толстой.

Обращаясь прежде всего къ прикладной наукѣ, къ техникѣ, изобрѣтенія которой непосредственно входятъ въ практическую жизнь, онъ замѣчаетъ, что всѣ успѣхи ея «по особенной несчастной случайности, признаваемой и людьми науки, до сихъ поръ не улучшили, а скорѣе ухудшили положеніе большинства, т. е. рабочаго». Стоитъ припомнить, напримѣръ, изобрѣтеніе машинъ, лишившее работника самостоятельности и приведшее его въ зависимость отъ фабриканта и т. п. Если-же какое-нибудь усовершенствованіе жизни, открытое наукой, и бываетъ иногда полезно народу, то это—чистая случайность въ дѣятельности нашихъ ученыхъ, наступившая лишь потому, что народу не запрещается пользоваться изобрѣтеніями науки, но не потому, чтобы люди науки стремились въ своихъ занятіяхъ къ благу народа, чтобы они желали быть ему полезными. Наши техники, механики, врачи, педагоги желаютъ и умѣютъ служить только обезпеченному культурному классу. Ихъ знанія и приемы не приспособлены къ условіямъ

трудоваѣ народной жизни и они ничего почти не сдѣлали для удовлетворенія ея нуждамъ.

«Мы выдумали», пишетъ авторъ, «телеграфы, телефоны, фонографы; а въ жизни, въ трудѣ народномъ, что мы подвинули? Пересчитали два милліона букашекъ! А приручили-ли хотя одно животное со временъ библейскихъ, когда уже наши животныя давно были приручены? А лось, олень, куропатка, тетеревъ, рябчикъ—все остаются дикими. Ботаники наши и клѣточку, и въ клѣточкахъ-то протоплазму, и въ протоплазмѣ еще что-то и въ той штучкѣ еще что-то..., а со временъ египетской древности и еврейской, когда уже была выведена пшеница и чечевица, до нашего времени не прибавилось для пищи народа ни одного растенія, кромѣ картофеля, и то пріобрѣтеннаго не наукой. Выдумали торпеды, приборы для акциза и т. п., а прялка, ткацкій станокъ бабій, соха, топорѣще, цѣпъ, грабли, ушатъ, журавецъ—все такіе-же, какъ были при Рюрикѣ и т. д.». То-же самое можно сказать и про современныхъ художниковъ и поэтовъ. И они служатъ интересамъ и потребностямъ только небольшого кружка образованныхъ людей. Они пишутъ картины и слишкомъ дороги для народа, и недоступны ему по сюжету. Музыкальныя произведенія нашихъ композиторовъ разсчитаны на образованную публику и совершенно непонятны народу. Поэты также творятъ не для народа, и смыслъ ихъ произведеній по-прежнему теменъ для него. И забытый своею интеллигенціею народъ уже привыкъ искать удовлетворенія своимъ духов-

отребностямъ мимо ея и на ея глазахъ жертвою спекуляцій разныхъ полуграмотиздателей и авторовъ. При такомъ значеніи рода дѣятельности людей науки и искусства, или они право жить на счетъ труда этого

наука и искусство призваны служить не только утилитарнымъ цѣлямъ практической. Главное и высшее ихъ назначеніе—удовлетвореніе духовнымъ потребностямъ человѣка. Можетъ современная наука сдѣлала многое въ этомъ отношеніи? Въ настоящее время человѣчество владело известною суммою знаній, накопленныхъ въ теченіе многовѣковаго историческаго существованія. Вся эта масса знаній, по мнѣнію гр. Толстаго, есть еще наука въ строгомъ смыслѣ слова. Эти касаются множества самыхъ разнообразныхъ предметовъ и человѣкъ потерялся-бы въ этомъ громадномъ множествѣ, еслибы при изученіи ихъ не было руководящей нити, еслибы нельзя было расположить эти знанія по степенямъ ихъ относительной важности для человѣка. Необходимо, слѣдовательно, знать, какія изъ нихъ первой, какія меньшинности. «И это-то, руководящее всѣми другими знаніями, знаніе люди всегда называли наукою въ самомъ смыслѣ». Важнѣйшимъ-же вопросомъ во всемъ человѣческомъ знаніи всегда былъ вопросъ о томъ, *зачѣмъ назначеніе и потому истинное благо для человѣка и всѣхъ людей.* Попытки отвѣтить на этотъ вопросъ и составляютъ человѣческую

науку. Такова, говоритъ гр. Толстой, была наука Конфуція, Будды, Сократа, Магомета и другихъ; такою наука была всегда и только изъ этой науки опредѣлялось значеніе всѣхъ другихъ знаній чело-вѣчества. Существованіе такой науки всегда призна-валось необходимымъ, такъ какъ предметовъ наукъ *безчисленное* количество въ точномъ смыслѣ этого слова, и безъ знанія того, въ чемъ назначеніе и бла-го всѣхъ людей, нѣтъ возможности выбора въ этомъ безконечномъ количествѣ предметовъ и потому безъ этого знанія всѣ остальные знанія становятся без-полезнымъ и ненужнымъ матеріаломъ, самая-же дѣя-тельность ученыхъ—праздной забавой. Если взгля-немъ теперь съ этой точки зрѣнія на современную науку, то увидимъ, что она отвергла знаніе о назна-ченіи чело-вѣка и, взявъ своимъ девизомъ изученіе фактовъ и явленій міра, оставила ученаго безъ пла-на и безъ компаса передъ безконечностью этихъ яв-леній. И это-то отрицаніе самой сущности науки, отри-цаніе, при которомъ немыслима никакая наука, на-зываютъ теперь положительною наукой!

Не лучше и положеніе искусства. Безъ истинной науки не можетъ быть, по мнѣнію графа Толстого, и искусства, такъ какъ оно есть ничто иное, какъ *выраженіе знанія о назначеніи и бла-го чело-вѣка*. Съ того-же времени, какъ затерялось это знаніе, не-возможнымъ сдѣлалось и существованіе искусства, которое и превратилось у насъ въ ремесло, достав-ляющее людямъ пріятныя ощущенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ утратило всякое право возвышаться надъ хо-

реграфическимъ, кулинарнымъ, косметическимъ и т. п. искусствами.

Свой трактатъ о назначеніи науки и искусства графъ Толстой заканчиваетъ слѣдующими словами «Пора опомниться и оглянуться на себя. Вѣдь мы ничто иное, какъ книжники и фари́сеи, сѣвшіе на сѣдалище Моисея и взявшіе ключи отъ царства небснаго, и сами не входящіе и другихъ не впускающіе. Вѣдь мы—жрецы науки и искусства—самые дрянны́е обманщики, имѣющіе на наше положеніе гораздо меньше правъ, чѣмъ самые хитрые и развратные жрецы. Вѣдь для привилегированнаго положенія нашего у насъ нѣтъ никакого оправданія. Жрецы имѣли право на свое положеніе—они говорили, что учать людей жизни и спасенію. Мы-же стали на ихъ мѣсто и не учимъ людей жизни, даже признаемъ, что учиться этому не надо, а учимъ своихъ дѣтей тому-же нашему талмуду—греческой и латинской грамматикѣ, для того, чтобы и они могли продолжать ту-же жизнь паразитовъ, какую мы ведемъ» (ч. XII, стр. 328).

Но что-же намъ дѣлать? На этотъ, неизбежно возникающій изъ всего ученія, вопросъ графъ Толстой даетъ слѣдующіе три отвѣта.

Во-первыхъ: не лгать ни передъ людьми, ни передъ собою, не бояться истины, куда-бы она ни привела насъ.

Все значеніе этого отвѣта будетъ понятно намъ только тогда, если мы представимъ себѣ, какъ трудно привилегированному человѣку примѣнять, во всей

ихъ чистотѣ, требованія своего разума и совѣсти; какъ трудно разойтись во имя ихъ со всѣми окружающими и остаться одному; какъ трудно, словомъ, разстаться съ привычною ложью жизни. А всего этого требуетъ правило: не лгать передъ собой.

Во-вторыхъ: отречься отъ сознанія своей правоты, своихъ преимуществъ, особенностей передъ другими людьми, и признать себя виноватымъ.

Только отреченіе отъ сознанія себя существомъ особеннымъ, имѣющимъ право на особенное между людьми положеніе и призваннымъ къ какой-то исключительно-полезной дѣятельности, являющейся главнымъ источникомъ нравственныхъ страданій человека,—только такое отреченіе можетъ привести его къ исполненію того вѣчнаго и несомнѣннаго закона жизни, требованіе котораго составляетъ содержаніе третьяго отвѣта графа Толстого:—«трудомъ всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться съ природою, для поддержанія жизни своей и другихъ людей».

Трудъ обязателенъ для человека, какъ законъ жизни, какъ условіе его счастья. Человекъ долженъ выпустить зарядъ энергіи, принимаемый имъ въ видѣ пищи, долженъ работать физическимъ, мускульнымъ трудомъ. Исполняя этотъ общій законъ природы, изъ подѣ дѣйствія котораго человекъ не можетъ безнаказанно выйти, онъ можетъ получить полное удовлетвореніе своихъ потребностей: работая на себя, онъ удовлетворяетъ фізіологической сторонѣ своей природы, работая для другихъ людей—удовле-

духовной потребности. Вотъ путь, ко-
ію графа Толстого, можетъ вывести
спутавшей его джи и дать ему радост-
вую жизнь.

ое графомъ Толстымъ разрѣшеніе во-
іать?—имѣетъ не одно только личное
ѣ то-же время и разрѣшеніе вопроса
и соціальнаго, который, по мнѣнію
есть въ сущности вопросъ крылов-
Его надо просто открыть. И онъ дѣй-
рывается естественнымъ стремленіемъ
о собственному счастью, къ его нрав-
коенію, разъ только онъ пойметъ, что
исполненіи закона жизни, повелѣваю-
ются для себя и другихъ.

то идеала общественной жизни графъ
въ сказкѣ объ Иванѣ дуракѣ и его
, показывая намъ царство, гдѣ всѣ
ь, гдѣ война невозможна, за отсут-
ивленія, гдѣ деньги служатъ только
й и гдѣ не пускаютъ за столъ нико-
ихъ мозолей на рукахъ.

вныя основанія, остоѣвъ ученія графа

XI.

Значеніе этическаго ученія графа Толстого.

Какъ всякая практическая философія, какъ ственный кодексъ жизни, ученіе графа Толстого предполагаетъ подъ собою цѣлое опредѣленное зерцаніе; полный разборъ его могъ-бы быть не только въ обширной и трудной работѣ, но и въ самой простой, въ самомъ первомъ изъясненіи къ самымъ первоначальнымъ вопросамъ и задачамъ, въ себѣ пересмотръ и повѣрку всѣхъ тѣхъ положеній, изъ которыхъ нашъ авторъ выводитъ практическій идеалъ жизни. Въ томъ-же небольшомъ очеркѣ, который мы можемъ посвятить оцѣнкѣ идеала, нечего, конечно, и думать о подобной работѣ; мы хотимъ только опредѣлить его своеобразный характеръ, его основныя черты и особенности, тѣмъ отвѣтить на вопросъ: почему графъ Толстой возбудилъ своимъ ученіемъ такой интересъ въ обществѣ? Какою силою дѣйствуетъ это ? Чѣмъ оно привлекаетъ, а иногда и подчиняетъ человѣка?

и внимательномъ отношеніи къ проявленіямъ юй жизни человѣчества нельзя не замѣтить, наше время, въ наши послѣднія десятилѣтія, ился какой-то переломъ этой жизни: что-то отжило, возникаетъ что-то иное. Девятнадцатый сходитъ со сцены; начинается новый періодъ. Пока — это новое направленіе сказывается, имъ образомъ, какъ отрицаніе, какъ своего рода тантизмъ. Когда-то человѣкъ во имя разума говаль противъ религіозной ортодоксіи, противъ вльнаго символа вѣры, противъ принужденія и. Разумъ сдѣлалъ свое дѣло—освободилъ чело- ть власти догматики. Теперь человѣкъ проте- противъ чрезымѣрныхъ притязаній разума, паго, что онъ есть живая личность, сложный ообразный организмъ потребностей, а не только ценная логическая способность, могущая удовле- сь одними раціональными построеніями. ого отвѣтовъ было предложено разумомъ на й, общечеловѣческій вопросъ: какъ должно і что дѣлать? Много философскихъ системъ и кихъ доктринъ было построено для его разрѣ- но пока человѣкъ требовалъ разумнаго дока- ства всѣхъ этихъ системъ и доктринъ, онѣ оказывались произвольными, лишенными осно- опирающимися на что-то для разума недоступ- одолжительный опытъ привелъ наконецъ чело- ть сознанію, что разумъ безсиленъ создать тотъ , осуществленіе котораго могло-бы стать цѣлью ни; а несомнѣнные факты прошлаго и настоя-

щаго въ то же время убѣждали его, что человѣчество постоянно владѣло такими идеалами. Выводы явились сами собою: онъ понялъ, что не разумъ создалъ тѣ образы, которыми жило человѣчество, и что не въ разумѣ коренилась ихъ сила; онъ понялъ, что образъ, создаваемый человѣкомъ, имѣетъ какую-то непосредственную власть надъ его душою, можетъ произвести въ ней то потрясеніе, силою котораго его воля возбуждается къ опредѣленному дѣйствию. Словомъ, онъ понялъ, что заблуждался, когда, раздробивъ свою личность, жилъ только одною частью ея, когда всю духовную жизнь ограничилъ сферою разума и, какъ на признаки грубаго суевѣрія и невѣжества, смотрѣлъ на всякую идею, неподлежащую логическому доказательству. Вотъ этотъ-то протестъ противъ исключительнаго господства разума, это признаніе иныхъ, не разумныхъ, основаній нравственнаго идеала—это-то и составляетъ содержаніе новаго направленія духовной жизни, начавшагося въ послѣднее время.

Но какъ ни важно истинное знаніе того пути, которымъ человѣкъ можетъ придти къ идеалу, само по себѣ такое знаніе еще не даетъ удовлетворенія, все равно какъ совершенно правильное представленіе голоднаго, что ему нуженъ хлѣбъ, а не камень, не утолитъ его голода. Нужно дѣйствительно добыть хлѣба; нужно дѣйствительно создать идеаль. Нужно создать такой идеаль, который-бы отвѣчалъ требованіямъ настоящаго времени, который-бы присущю

ою силою могъ подчинить себѣ душу
человѣка.

Членіе графа Толстого представляетъ
такій идеалъ для нашего времени.
Только лѣтъ тому назадъ, графъ Тол-
стой «Исповѣдь», и она, несмотря на
сдѣлалась извѣстна обществу, нельзя
сказать, что успѣхъ ея былъ совершенно
въ успѣхѣ другихъ произведеній на-
ш. Не говоря уже о размѣрахъ вызван-
на, качественно къ ней относились
къ, какъ привыкли относиться къ
другихъ авторовъ. Видно было, что
какія-то глубокія и сильныя потребно-
сти души, что она отвѣтила какому-то
всему ожиданію. «Исповѣдь», какъ
исторія сомнѣній и исканій автора.
есть живая личность человѣка, съ
въ ней сознаніемъ своей свободы, съ
вопросомъ: какъ опредѣлить свою жизнь,
въ виду необходимости выбора каждую
жизнь? Глубокое пониманіе
требностей человѣческой души, искрен-
ность мысли, которая не боится
сказать, сдѣлали то, что «Исповѣдь»
потеряла свой личный характеръ и
стала общечеловѣческимъ выраженіемъ
стремленій и исканій. Путь, пройден-
ный, представляется неизбежнымъ
заніемъ, разъ только въ немъ возникнетъ

вопросъ о цѣли жизни и скажется потр
ственного идеала. Но такой вопросъ пол
ное значеніе именно въ наше время,
требность всего сильнѣе ощущается име
нымъ человѣкомъ—и вотъ это-то и сб
Толстого съ обществомъ, это-то и выз
обыкновенный интересъ къ его этичес
о которомъ мы только что говорили.
человѣкъ уже не можетъ понимать я
ныхъ предковъ, завѣщавшихъ ему свои
идеалы. Ихъ вѣра уже чужда ему, их
не властны надъ нимъ. Казалось-бы,
должно быть способно къ нравственном
къ созданію такихъ образовъ жизни, и
бы удовлетворить соотвѣтствующаго
но, къ сожалѣнію, это далеко не такъ.
слѣднее столѣтіе — эпоха разума и н
ничего не сѣумѣло создать для удовлет
ственной личности. Громко провозгласи
ственнымъ источникомъ истины, эта е
поръ только собираетъ крупинки зна
рыхъ нѣтъ никакой возможности сдѣ
для человѣка выводъ о цѣли его жизн
мыхъ ему принципахъ дѣятельности. Т
созрѣла и окрѣпла въ нашемъ общест
современная наука безсильна создать и,
творяющіе живую человѣческую лич
стало искать другихъ источниковъ у
своихъ духовныхъ потребностей. Въ эт
Толстой выступилъ со своими этическ

и, Онъ говорилъ языкомъ понятнымъ для насъ, чуждой намъ по духу, онъ самъ пережилъ наши вѣры и разочарованія и онъ въ основаніе своего ставилъ тотъ-же вопросъ, которымъ и мы всѣ живемъ,—вопросъ: какъ должно жить и что дѣлать? Его ученіе нѣсколько десятилѣтій назадъ, оно было бы теперешняго значенія, такъ какъ тогда еще не изжили еще своей вѣры во всемогущую религіозную науку. Есть, впрочемъ, еще одна причина, почему ученіе графа Толстого не могло-бы быть чуждымъ въ нашемъ недавнемъ прошломъ. Ученіе начинается отъ сознающаго свою особность я, личности, отъ блага конкретнаго человѣка. Въ наше же прошлое господствовала идея общаго человѣка, работавшаго надъ общественными задачами и настолько былъ увлеченъ ими, что въ немъ не ввелись еще сомнѣнія о томъ, исполняетъ ли свое назначеніе, предаваясь этой дѣятельности, какимъ результатомъ скажутся на его собственной счастливости успѣхи его общественныхъ предпріятій. И здѣсь нуженъ былъ опытъ, нуженъ былъ примѣръ общественныхъ увлеченій, нуженъ былъ смѣлый шагъ мысли, чтобы личность выдѣлила себя изъ общества и признала самостоятельность своихъ интересовъ и необходимое первенство вопросовъ собственной жизни. Все это было въ нашей жизни. И разрывъ въ социальныхъ идеалахъ, и упадокъ общественныхъ интересовъ, и индивидуалистическая тенденція, направившая мысль на разработку внутренней жизни,—все это прошло у насъ передъ гла-

зами, подготовило почву учению графа Толстого и еще разъ доказало, насколько тѣсно, органически связанъ этотъ писатель съ своимъ обществомъ. Онъ переживаетъ тѣ-же вопросы и настроенія, что и общество; только онъ скорѣе справляется съ ними и умѣетъ дать имъ ясное выраженіе въ то время, какъ въ остальномъ обществѣ они находятся еще въ состояніи смутной, не опредѣлившейся тревоги.

Создавая нравственный идеалъ непосредственными силами личности, гр. Толстой, какъ мы знаемъ, отрицательно отнесся къ складу современной жизни и притомъ не только къ внѣшнимъ формамъ ея, но и къ тѣмъ принципамъ и стремленіямъ, которыя образовали ее и которыя онъ обнимаетъ въ общемъ понятіи «ученія міра». На ученіе это онъ смотритъ какъ на глубокое заблужденіе, заставляющее человека всю жизнь гоняться за призраками счастья и скрывающее отъ него то дѣйствительное благо, къ которому призываетъ его природа. Избѣгая простоты и труда, презирая естественныя, здоровыя радости и вѣчно стремясь къ разнообразію наслажденій, уходя изъ Божьяго міра въ свой искусственный комфортъ и отгораживаясь отъ большинства людей тщеславною выдумкою своихъ особенныхъ достоинствъ, человекъ нашей культуры, по мнѣнію графа Толстого, выбралъ ложный путь, неправильно построилъ свою жизнь. Но ложь этой жизни чувствуетъ и самъ культурный человекъ. Она проводится въ его сознание то посредствомъ безысходной тоски и повидимому безпричинной скуки, то вспышками возмущаю-

ровѣсти. Не случайны, конечно, тѣ явленія и отвращенія къ жизни, часто кончающіяся самоубиствомъ, которыя такъ характерны для капиталистическаго общества. Не случайны также и инстинкты нравственнаго чувства противъ пороковъ и слѣдствій установившагося порядка жизни. Толстой ясно свидѣтельствуетъ о разрастающейся несправедливости этого порядка, о томъ, что жить становится все труднѣе и мучительнѣе. Совершенно чуждый всякаго эгоизма Толстой признаетъ это и въ отрицаніи существующаго порядка находитъ выраженіе своихъ нравственныхъ настроеній.

Вопросъ же о томъ, можетъ ли человекъ создать себѣ такую жизнь, въ которой нѣтъ ничего обязательнаго, нѣтъ никакихъ законовъ, которые-бы заставляли человека преисполняться требованіями его природы, и если онъ не можетъ, то только потому, что самъ допускаетъ существованіе жизни, только потому, что даетъ господствовать надъ собой тѣмъ мелкимъ страстямъ и желаніямъ, которыя находятъ въ ней удовлетвореніе. Ничего невозможнаго нѣтъ въ этой жизни, и отъ самого человека зависитъ вывести свою личность изъ существующаго положенія и устроить себѣ иную жизнь, естественную и согласную съ его нравственными потребностями. Нужно только признать действительность требованій этой природы и отказаться отъ всякаго произвольнаго, по мнѣнію Толстого, возмущенія, что современный порядокъ

жизни есть необходимая стадія въ про
наго развитія человѣчества, противъ
силны всѣ стремленія отдѣльныхъ
Толстой энергически возстаетъ противъ
тализма и противопоставляетъ ему ободъ
свободнаго творчества какъ личной, и
ственной жизни. То зло, которое каж
можетъ устранить изъ своей жизни,
уничтожено и въ жизни общественной

«Есть, говоритъ онъ, индѣйская ск
что человѣкъ уронилъ жемчужину въ
достать ее, взялъ ведро и сталъ черпать
на берегъ. Онъ работалъ такъ не пере
седьмой день морской духъ испугался
ловѣкъ осушить море, и принесъ ему
Если-бы наше общественное зло угнет
было море, то и тогда та жемчужина
потеряли, стѣить того, чтобы отдать се
вычерпываніе моря этого зла. Князь мѣ
гается и покорится скорѣе морского д
ственное зло не море, а вонючая помой
торуя мы старательно наполняемъ сам
чистотами. Стѣить только очнуться и
мы дѣлаемъ, разлюбить свою нечисто
ображаемое море тотчасъ изсякло и мы
цѣнной жемчужиной братской, человѣч

За послѣднее время человѣкъ силь
свою нравственную личность. Цивилизо
выработала торныя дороги, на котор
каждый чуть-ли не съ самаго рождені

нимъ, принимая ихъ какъ что-то неизбѣж-
ши-ли онѣ, дурны-ли, онѣ не спрашивалъ.
ли, такъ живутъ—значить такъ должно
читать такова судьба человѣка, думалъ онѣ,
того, чтобы осуществлять въ своей лично-
чшее, о чемъ говорили ему его разумъ и
нѣ принижалъ ее до господствующаго уров-
венности и подчинялъ существующимъ фор-
ни. Въ этой правственной пассивности графъ
идитъ главную причину несчастій совре-
человѣка и горячо призываетъ его къ ра-
ренного усовершенствованія, исторіей сво-
убѣждая его, что людямъ даны сила и воз-
осуществлять ихъ идеалы въ дѣйствитель-
этому-то призыву, намъ кажется, всего
нѣе и прислушивается наше общество.

я того, чтобы призывъ этотъ могъ полу-
е-либо практическое значеніе, необходимо
аботать идеаль, который-бы подлежалъ осу-
ю. И графъ Толстой, какъ мы знаемъ, вы-
проповѣдь не съ однѣми общими фразами;
съ собою совершенно опредѣленный идеаль
язанность каждаго личнымъ, физическимъ
участвовать въ борьбѣ человечества съ при-
юстота и правда жизни, разумная послѣ-
ость въ удовлетвореніи потребностей, сво-
ратское общеніе со всѣми людьми—вотъ
ормула этого идеала.

ь этотъ, какъ и всякій вообще идеаль, вы-
изъ блестящей дали неопредѣленныхъ меч-

таній и облекающійся въ реальныя формы жизни,— разочаровалъ многихъ. Однимъ показалось ничтожнымъ его жизненное значеніе: они увидѣли въ немъ только выходъ изъ положенія небольшой кучки праздныхъ людей. Другіе не могли помириться съ его бѣдностью, съ его будничнымъ, сѣренькимъ видомъ. Третьи признавали его невозможнымъ.

Съ первыми можно согласиться въ томъ, что идеаль графа Толстого вносить нѣчто новое только въ жизнь сравнительно небольшого круга людей, освободившихся отъ обязанности труда, что дѣйствіе этого идеала ограничено. Но эта ограниченность въ настоящемъ случаѣ доказываетъ только его универсальность и жизнеспособность, такъ какъ происходитъ не отъ того, чтобы требованія его были непримѣнимы къ большинству человѣчества, а отъ того, напротивъ, что трудящаяся масса уже и въ настоящемъ своемъ состояніи отвѣчаетъ основнымъ принципамъ этого идеала. Для полнаго торжества его въ жизни необходимо только, чтобы принципы эти были приняты и осуществлены и тѣми людьми, которые не покорились общему закону труда и ушли отъ него или въ полную праздность, или въ сферу труда привилегированнаго. Если-же торжество этого идеала наступитъ, если онъ примется всѣми людьми, жизнь наша измѣнится до неузнаваемости. Идеаль графа Толстого касается тѣхъ глубокихъ основъ жизни, на которыхъ держится весь современный строй ея, и измѣненіе которыхъ необходимо повлечетъ за собой переустройство всѣхъ жизненныхъ отношеній. Все

ѣнятся подѣ вліяніемъ того новаго вѣя-
сѣ которымъ связано осуществленіе этого
а:—быть частный и общественный, здо-
вственность человѣка, его удовольствія,
искусство—все должно перемѣнить свой
образъ и приспособиться къ новому на-

зирать другіе—вѣчный трудъ, простота
жизни... Торжествующая фізіоло-
это тускло, бѣдно, непривлекательно! Это
мъ «мужицкое счастье», и образъ его не
нашей фантазіей». Да, не на праздникъ
Толстой человѣка, а на трудный по-
и. Онъ не скрываетъ будничной стороны
и, не зарисовываетъ ее яркими краска-
тъ шума и блеска въ его осуществленіи.
здержаніе—законъ жизни, говоритъ онъ.
одвигъ труда и воздержанія—необходи-
человѣка, указанный ему природою. Воз-
ивъ него, убѣгая отъ труда и безгранич-
ь своимъ влеченіямъ, человѣкъ совер-
и несетъ за то тяжкія послѣдствія. Все
сравнительно: какъ ни бѣдна и ни-
знь, согласная съ требованіями природы,
на даетъ человѣку больше счастья, чѣмъ
лестящими призраками, чѣмъ жизнь съ
имся ожиданіемъ невозможныхъ наслаж-
Толстой разоблачилъ эту жизнь, пока-
и такое въ дѣйствительности, показалъ
ея цѣлей и интересовъ, ничтожность ея

утѣхъ, безчеловѣчность ея отношеній и ту мучную душевную пустоту, которую безсильны нить рождаемая ею разнообразныя, но поведенныя и скоропроходящія ощущенія. Вспомни примѣръ, Ивана Ильича и его жизнь... Въ этомъ графъ Толстой заставилъ своихъ читателей почувствовать, что жизнь труда и умеренно все не такъ страшна и, главное, не такъ пошлае ее обыкновенно представляютъ. Онъ раскрылъ передъ нами таящіяся въ ней огромныя задачи съ природою и съ собою, показалъ ея нечуждыя радости—бодрость духа и спокойствіе с произтекающія изъ правильнаго удовлетворенія ея физическихъ и нравственныхъ потребностей. Пора отрезвиться, довольно обмановъ на землѣ невозможно то лучезарное счастье, носилось передъ нами въ нашихъ поэтическихъ замахъ, то нечего и гнаться за нимъ и вмѣстѣ безплодныхъ и мучительныхъ исканій лучшаго, хотя и скромнаго, но дѣйствительнаго трудового и человѣчески-справедливаго жизни.

Таковъ выводъ изъ ученія графа Толстого.

Какъ ни почтенны, однако, начала трудового и нравственнаго, защищаемыя этимъ ученіемъ въ основаній новой жизни, но это не многимъ сомнѣваться въ возможности осуществленія этой жизни въ наше время. Какъ отнесутся къ началамъ современнаго общества? Много-ли найдется людей, способныхъ слѣдовать ученію графа Толстого?—Не вдаваясь въ подробный разборъ этихъ

мѣтимъ только, что ученіе графа Толстого съ какъ нельзя болѣе своевременно. Основ-
ный принципъ этого ученія—равенство всѣхъ передъ
трудоу трудиться—есть въ то-же время и ло-
гичный выводъ демократической тенденціи, начав-
шей въ прошломъ вѣкѣ и все возрастающей вплоть
до настоящаго времени. Разница только въ томъ, что де-
лать—идея общественная, и для него прин-
ципъ равенства и вытекающая изъ него обязан-
ность трудиться есть условіе общественнаго
ученія—идея этическая, и о упомянутый принципъ есть условіе инди-
видуальнаго блага личности. Отправляясь отъ про-
стыхъ началъ, обѣ идеи приходятъ къ од-
ному-же выводу и, встрѣчаясь въ немъ, ока-
зываютъ другъ-другу взаимную поддержку. Ученіе
Толстого нашло сознаніе современныхъ об-
ществу подготовленнымъ для воспріятія указы-
мымъ идеала жизни и въ то-же время само
новый стимулъ для осуществленія началъ
этихъ. Съ необыкновенною простотою, съ гру-
зительностью доказываетъ графъ Толстой не-
обходимость труда для всякаго человѣка ради его-же
личнаго счастья. Человѣкъ долженъ мускуль-
нымъ трудомъ выпустить полученный имъ зарядъ
иначе онъ заболѣетъ физически и нравствен-
но. Это основное положеніе практической морали
Толстого, и положеніе это силою вещей вхо-
дитъ въ самую глубь того социальнаго вопроса, раз-
рѣшеніе котораго составляетъ главную злобу настоя-

щаго времени. Эгоистическимъ клиномъ графъ Толстой раскалываетъ этотъ упорно неподдающійся разрѣшенію вопросъ, сводя задачу соціальной политики къ вопросу личной гігіены. Въ этомъ смыслѣ онъ правъ, говоря, что ларчикъ общественнаго благоустройства открывается просто. Пусть только каждый правильно стремится къ своему собственному счастью—и въ результатѣ необходимымъ образомъ окажутся и возростаніе общественнаго богатства, и приближеніе къ идеалу человѣческой справедливости.

Послѣ всего сказаннаго сдѣлается понятнымъ, почему графъ Толстой имѣлъ право на то вниманіе и интересъ, съ какимъ отнеслось къ нему наше общество. Онъ родной сынъ своего времени. Онъ пережилъ всѣ крупнѣйшіе вопросы разума и совѣсти современнаго человѣка и не утратился, не бѣжалъ отъ этихъ, иногда мучительныхъ, вопросовъ, но взялъ на себя трудный подвигъ ихъ уясненія и разрѣшенія. Съ безпримѣрной у насъ настойчивостью приложилъ онъ всѣ силы своихъ огромныхъ дарованій къ отысканію нужной человѣку истины. Онъ искалъ эту истину не умомъ только, а всѣмъ нравственнымъ существомъ своимъ, не въ кабинетѣ писателя, а въ широкой и разнообразной жизни народа. Усилія его увѣнчались успѣхомъ—онъ разобрался въ лабиринтѣ сложной человѣческой природы и далъ свои отвѣты на основные, неизбѣжные вопросы современной мысли. Многое въ этихъ отвѣтахъ несогласно съ господствующимъ міровоззрѣніемъ, съ ходячими взглядами общества, многое въ нихъ кажется страннымъ и

